

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Мадемуазель де Скюдери

Оглавление

Мадемуазель де Скюдери

Рассказ из времен Людовика XIV

Мадлен де Скюдери, пользовавшаяся в Париже известностью как автор весьма изящных стихов, жила на улице Сент-Оноре, в маленьком домике, который ей был пожалован благоволившими к ней Людовиком XIV и г-жой де Ментенон.

Однажды, в позднюю полуночную пору, — дело было осенью 1680 года, — в дверь этого дома постучали сильно и резко, так, что в сенях задрожали стекла. Батист, бывший у Скюдери и поваром, и лакеем, и привратником, отлучился, с позволения госпожи, за город, на свадьбу сестры, и во всем доме бодрствовала одна только горничная Мартиньер. Она прислушивалась к непрекращающемуся стуку и подумала о том, что Батиста нет и что она осталась со своей госпожой одна, без всякой защиты; все злодеяния, когда-либо совершавшиеся в Париже, грабежи, убийства пришли ей теперь на ум, она была уверена, что там, внизу, толпятся убийцы, которых привлекло уединенное положение дома и которые, если их впустить, приведут в исполнение свой злой замысел, и вот, все не выходя из комнаты, она дрожала от ужаса, проклиная Батиста и свадьбу его сестры. Между тем громopodobный стук не прекращался, и ей показалось, что в промежутках между ударами чей-то голос восклицает: «Да отворите же, ради Христа, отворите!» Наконец, испытывая все больший страх, Мартиньер схватила зажженную свечу и бросилась в сени; здесь она уже совсем ясно услышала голос стучавшего: «Ради Христа, отворите!» «Право же, — подумала Мартиньер, — разбойник так не скажет. Как знать, может быть, кто-нибудь, спасаясь от них, ищет убежища у моей хозяйки, а она ведь всегда рада сделать людям добро. Но только будем осторожны!» Она отворила окошко и, стараясь придать своему низкому голосу как можно больше сходства с голосом мужчины, громко спросила, кто это поздней ночью колотит в дверь и всем мешает спать. В лучах луны, прорвавшихся из-за темных туч, она увидела высокого человека в светло-сером плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза. И она громко закричала — так, чтобы стоявший внизу мог услышать:

— Батист, Клод, Пьер, вставайте-ка да посмотрите, что это за бездельник хочет выломать дверь!

Но снизу донесся мягкий, почти жалобный голос:

— Ах! милая Мартиньер, я ведь знаю, что это — вы, как бы вы ни старались изменить ваш голос, я ведь знаю, что Батист ушел за город и дома вы одни с вашей хозяйкой. Отворите мне, ничего не бойтесь. Мне во что бы то ни стало надо поговорить с вашей госпожой, и сию же минуту.

— Да что это вы! — ответила Мартиньер, — ночью говорить с госпожой? Разве вы не знаете, что она давно уже почивает, а я ни за что не стану будить ее, тревожить ее первый сладкий сон, который так нужен в ее годы?..

— Я знаю, — сказал стоявший внизу, — я знаю, что ваша госпожа только что отложила рукопись своего романа «Клелия», над которым она неутомимо трудится, а теперь дописывает стихи, которые завтра собирается прочесть у маркизы де Ментенон. Заклинаю вас, госпожа Мартиньер, будьте милосердны, откройте мне дверь. Знайте, дело идет о том, чтобы спасти от гибели несчастного, знайте, что честь, свобода, самая жизнь человека зависит от той минуты, когда я буду говорить с вашей госпожой. Подумайте, ведь она никогда не простит вам, если узнаете, что это вы прогнали несчастного, который пришел умолять ее о помощи!

— Но зачем же вы приходите умолять ее в такой неурочный час? Приходите завтра в обычное время, — проговорила Мартиньер, но голос снизу ответил:

— Судьбе не важно, какой час, она разит как губительная молния. Разве можно медлить, когда остались какие-нибудь мгновения? Отворите мне дверь, не бойтесь несчастного, беззащитного, покинутого всеми человека, которому грозит страшная участь, он пришел молить вашу госпожу спасти его от надвигающейся гибели!

Мартиньер услышала, как при этих словах он в глубокой муке застонал и всхлипнул; а голос у него был нежный — голос юноши, проникавший в самую душу. Она почувствовала жалость и, уже не колеблясь, принесла ключ.

Как только она открыла дверь, человек в плаще стремительно ринулся в сени и, оставив Мартиньер позади себя, диким голосом вскричал:

— Ведите меня к вашей госпоже!

Испуганная Мартиньер повыше подняла свечу, свет ее упал на смертельно бледное, страшно искаженное лицо юноши. Мартиньер чуть было не лишилась чувств от страха, когда этот человек распахнул плащ, и она увидела торчащую из-за отворота куртки блестящую рукоять кинжала. Юноша бросил на нее сверкающий взгляд и воскликнул голосом еще более диким, чем давеча:

— Говорю вам, ведите меня к вашей госпоже!

Ей представилась страшная опасность, грозящая ее хозяйке; вся любовь к дорогой госпоже, в которой она чтитла добрую нежную мать, еще ярче вспыхнула в сердце Мартиньер и пробудила в ней храбрость, на какую она даже и не считала себя способной. Она быстро захлопнула незатворенную дверь в комнату, стала перед ней и твердо и решительно сказала:

— Вы, право же, так беснуетесь здесь, что это плохо вяжется с вашими жалобными словами там, на улице. Теперь вам не увидеть моей госпожи и не говорить с ней. Если вы ничего дурного не замышляете, если вам не страшен свет дня, то приходите завтра снова и расскажите о вашем деле! А сейчас убирайтесь вон!

Мужчина тяжело вздохнул, вперил в Мартиньер свой страшный взгляд и взялся за рукоять кинжала. Мартиньер безмолвно поручила богу свою душу, но была непоколебима и смело глядела ему в глаза, все плотнее прижимаясь к двери, через которую должен был пройти этот человек, чтобы попасть к ее госпоже.

— Говорю вам, пустите меня к вашей госпоже! — еще раз воскликнул он.

— Делайте что хотите, — ответила Мартиньер, — я с этого места не сойду, кончайте же злое дело, которое начали, — вам, как и вашим проклятым сообщникам, не избежать позорной смерти на Гревской площади.

— О-о! — воскликнул мужчина, — вы правы, Мартиньер, я так вооружен, что похож на злодея-разбойника, на убийцу, но мои сообщники еще не казнены, нет, они еще не казнены.

И с этими словами он, бросая яростные взгляды на смертельно испуганную женщину, выхватил кинжал.

— Боже мой! — закричала она, ожидая удара, но в это время на улице послышался звон оружия, стук копыт. — Это стража! Стража! На помощь! На помощь! — закричала Мартиньер.

— Злая женщина, ты хочешь погубить меня... теперь всему конец, всему конец! Возьми, вот возьми! Отдай своей госпоже еще нынче... Если хочешь, завтра. — Шепотом пробормотав эти слова, он выхватил подсвечник у Мартиньер, погасил свечу и сунул ей в руки какой-то ящичек. — Ради спасения твоей души, отдай госпоже этот ящичек! — воскликнул он и выбежал из дома.

Мартиньер, упавшая на пол, с трудом встала на ноги и в темноте ощупью пробралась к себе в комнату, где в полном изнеможении, не в состоянии даже крикнуть, опустилась в кресло. Вдруг она услышала, как поворачивают ключ, оставленный ею в наружной двери. Дверь заперли, и тихие, неуверенные шаги стали приближаться к ее комнате. Она приросла к месту, не в состоянии пошевелиться, и ждала, что вот-вот случится ужасное; но что она почувствовала, когда дверь отворилась и при свете ночника она с первого же взгляда узнала доброго славного Батиста. Был он в страшном смятении и бледен как смерть!

— Ради всех святых, — начал он, — ради всех святых, скажите мне, госпожа Мартиньер, что тут случилось? Страху-то! Страху! Не знаю почему, но меня так и тянуло уйти со свадьбы! И вот прихожу я на нашу улицу. У госпожи Мартиньер, думаю, сон чуткий, она уж услышит, когда я тихонько постучу в дверь, и впустит меня. Вдруг навстречу мне дозор, конные, пешие, вооруженные с ног до головы, и меня хватают, не хотят отпустить. К счастью, тут же случился Дегре, лейтенант, — он хорошо меня знает, — он и сказал, когда мне к самому носу поднесли фонарь: «Ты, Батист! Что это тебя носит ночью? Сидел бы лучше у себя да стерег бы дом! Тут небезопасно, мы надеемся еще нынче ночью на славную добычу». Вы просто не поверите,

госпожа Мартиньер, как мне страшно стало от этих слов. И вот уж я стою на пороге, а из дому выскакивает какой-то человек, закутанный в плащ и с блестящим кинжалом в руке, сшибает меня с ног... дверь открыта, ключ торчит в замке, — скажите, что это все значит?

Мартиньер, оправившись от смертельного испуга, рассказала, как все произошло. Она и Батист прошли в сени и обнаружили на полу подсвечник, брошенный незнакомцем, когда он убегал.

— Нет никакого сомнения, — сказал Батист, — что нашу госпожу собирались ограбить, а то и убить. Этот человек знал, что сегодня дома только вы да госпожа, он даже знал, что она еще не спит, а пишет. Это был, верно, один из тех мошенников-грабителей, которые умеют проникнуть в любой дом и хитро выведывают все, что нужно для их дьявольских дел. А ящичек, госпожа Мартиньер, я думаю, мы с вами бросим в Сену, в самом глубоком месте. Кто нам поручится, что какой-нибудь окаянный злодей не покушается на жизнь нашей доброй хозяйки и, раскрыв ящичек, она не упадет замертво, как старик маркиз де Турне, когда он распечатал письмо, поданное незнакомцем!

Посоветовавшись, верные слуги решили наконец, что утром все расскажут своей госпоже и вручат ей таинственный ящичек, который ведь можно будет открыть с надлежащей осторожностью. Тщательно взвесив все обстоятельства появления подозрительного незнакомца, они пришли к тому заключению, что здесь, может быть, скрывается какая-нибудь тайна, над которой они не властны и разгадку которой должны предоставить госпоже.

* * *

Опасения Батиста имели весьма серьезные основания. Как раз в это время Париж стал местом гнуснейших злодеяний, как раз в то время самое дьявольское, адское изобретение открыло легчайший способ совершать их.

Глазер, немец-аптекарь, лучший химик своего времени, занимался и алхимическими опытами, которыми нередко увлекались люди его ремесла. Он стремился найти философский камень. К нему присоединился итальянец, по имени Экзили. Но последнему алхимия служила только предлогом для других занятий. Он изучал лишь способы варить, смешивать, перегонять ядовитые вещества, с помощью которых надеялся достичь благосостояния, и наконец ему удалось приготовить яд, что не имеет ни запаха, ни вкуса, убивает сразу или постепенно и не оставляет никаких следов в человеческом организме, вводя в заблуждение самых искусных ученых, врачей, которые, не подозревая об отраве, приписывают смерть какой-нибудь естественной причине. Как ни осторожно действовал Экзили, все же его заподозрили в продаже яда и заключили в Бастилию. Вскоре затем в тот же каземат посадили капитана Годена де Сент-Круа. Последний уже давно находился с маркизой де Бренвилье в любовной связи, бесчестившей все ее семейство; сам маркиз оставался равнодушен к преступлениям своей супруги, но отец ее, Дрё д'Обре, важный чиновник в парижском суде, так был возмущен ее поведением, что добился приказа об аресте капитана и тем самым разлучил преступную пару. Капитану, человеку страстному, но бесхарактерному, ханжески благочестивому, на самом же деле с юных лет склонному ко всевозможным порокам, ревнивому, до безумия мстительному, ничто не могло так прийтись по душе, как дьявольская тайна Экзили, позволявшая истребить всех своих врагов. Он стал ревностным учеником итальянца, вскоре сравнялся со своим учителем и, будучи выпущен из Бастилии, мог продолжать работать один.

Бренвилье была женщина развратная, Сент-Круа сделал из нее чудовище. Он постепенно довел ее до того, что она отравила сперва своего отца, у которого поселилась и чью старость окружила лицемерной заботливостью, потом — обоих своих братьев и, наконец, сестру: отца — из мести, прочих же — из-за богатого наследства. Судьба многих отравителей являет страшный пример того, как подобные преступления превращаются в непреодолимую страсть. Без всякой цели, ради одного удовольствия, подобно химику, делающему опыты только для забавы, отравители нередко убивали людей, жизнь или смерть которых была им совершенно

безразлична. Внезапная смерть нескольких бедняков в больнице Отель-Дье возбудила впоследствии подозрение, что хлеб, который каждую неделю раздавала там Бренвилье, желая служить примером благочестия и добродетели, был отравлен. Точно известно, во всяком случае, было то, что она клала яд в паштеты из голубей и потчевала ими своих сотрапезников. Кавалер дю Ге и многие другие лица пали жертвою этого адского угощения. Капитану Сент-Круа, его помощнику Лашоссе, маркизе Бренвилье долгое время удавалось окутывать непроницаемым покровом тайны свои чудовищные злодеяния. Но разве коварная хитрость низких людей может сопротивляться вечному всемогуществу неба, если оно решит еще здесь, на земле, покарать преступников? Яд, приготовляемый Сент-Круа, отличался такой силой, что, если порошок (парижане называли его «poudre de succession»¹) лежал открытым после приготовления, стоило один раз вдохнуть — и смерть наступала мгновенно. Поэтому Сент-Круа во время своих манипуляций носил стеклянную маску. Однажды, когда он только что собирался всыпать в склянку приготовленный ядовитый порошок, маска сползла, и он, вдохнув тонкую ядовитую пыль, в то же мгновение упал мертвый. У него не было наследников, и судебные власти поспешили опечатать его имущество. И вот в одном ящике оказался целый адский арсенал смертоносных ядов, имевшихся в распоряжении злодея Сент-Круа, обнаружены были письма Бренвилье, не позволявшие сомневаться в их преступлениях. Она бежала в Льеж и скрылась в монастыре. Вслед ей послан был Дегре, офицер полиции. Переодевшись духовным лицом, он явился в монастырь. Ему удалось вступить в любовную связь с этой ужасной женщиной и назначить ей тайное свидание в уединенном саду вблизи города. Как только она туда пришла, ее окружили сыщики Дегре, а влюбленный служитель церкви внезапно превратился в офицера полиции и заставил ее сесть в карету, которая уже стояла у ворот сада, и в сопровождении стражи немедленно увез ее в Париж. Лашоссе был уже раньше обезглавлен. Бренвилье умерла такою же смертью, тело ее после казни сожгли, а пепел развеяли в воздухе.

Парижане свободно вздохнули, когда не стало чудовища, которое своим тайным смертоносным оружием безнаказанно разило и друзей и врагов. Но вскоре оказалось, что страшное дело проклятого Сент-Круа нашло продолжателей. Подобно незримому коварному призраку, смерть прокрадывалась даже в самый тесный круг, основанный на родстве, любви, дружбе, и быстро и уверенно хватала несчастную жертву. Тот, кого вчера еще видели цветущим и здоровым, сегодня, больной, изнемогающий, уже еле двигался, и все искусство врачей не могло спасти его от смерти. Богатство, выгодная должность, красивая или, может быть, слишком молодая жена — этого было достаточно, чтобы навлечь на себя преследования и пасть их жертвой. Самое страшное недоверие разрушало священнейшие узы. Муж трепетал перед женой, отец — перед сыном, сестра — перед братом. Нетронутыми оставались кушанья и вина, которыми друг угощал друга, а там, где раньше царили веселье и шутка, люди испуганно искали взглядом скрытого под личиной убийцу. Можно было наблюдать, как испуганные отцы семейств в отдаленных улицах закупают припасы и сами в какой-нибудь грязной харчевне готовят себе пищу, боясь адского предательства в собственном доме. И все же порой даже величайшая предусмотрительность и осторожность оказывались напрасными.

Чтобы положить конец злодействам, все более распространявшимся, король учредил особый суд, которому и поручалось вести следствие исключительно по делам об этих тайных преступлениях и наказывать виновных. Это была так называемая *chambre ardente*², заседания которой происходили недалеко от Бастилии, председателем в ней был Ла-Рени. Некоторое время усилия Ла-Рени, как он ни старался, оставались бесплодными; только хитрому Дегре

¹ Порошок для наследников (франц.).

² Буквально «пылающая (или огненная) комната» — название, вызванное тем, что заседания суда происходили в помещении, обтянутом черной материей и освещаемом только факелами. (Примеч. ред.)

посчастливилось проникнуть в тайный источник злодеяний. В Сен-Жерменском предместье жила старуха по имени Ла-Буазен, занимавшаяся гаданием и заклинанием духов и с помощью своих подручных Лесажа и Ле-Вигуре повергавшая в страх и изумление даже таких людей, которых нельзя было назвать слабыми и легковерными. Но она занималась не только этим. Ученица Экзили, она, так же как и Сент-Круа, приготовляла тонкий, не оставлявший следов яд и таким образом помогала преступным сыновьям раньше времени завладеть наследством, а развращенным женщинам — раздобыть нового мужа, более молодого. Дегре проник в ее тайну, она во всем призналась и по приговору *chambre ardente* сожжена была заживо на Гревской площади. У нее нашли списки всех тех, кто прибегал к ее помощи, и вот — не только потянулись одна за другой казни, но тяжелое подозрение легло даже на лиц высокопоставленных. Возникло также подозрение, что Ла-Буазен указала кардиналу Бонзи средство в короткий срок избавиться от всех тех, кому он, как архиепископ Нарбоннский, должен был платить пенсии. Герцогиню Бульонскую и графиню Суассон, чьи имена оказались в списке, тоже обвинили в связи с этой страшной женщиной, и не был пощажен даже Франсуа Анри де Монморанси Будебель, герцог Люксембургский, пэр и маршал королевства. И он тоже подвергся преследованиям страшной *chambre ardente*. Он сам явился в Бастилию, где местом заключения для него — по злобному решению Лувуа и Ла-Рени — была назначена дыра длиною в шесть футов. Прошли месяцы, прежде чем стало совершенно ясно, что преступление герцога не заслуживает кары: однажды он всего-навсего поручил Лесажу составить для него гороскоп.

Несомненно, что слепое рвение привело председателя Ла-Рени к мерам насильственным и жестоким. Суд принял характер инквизиции, достаточно было малейшего подозрения, чтобы бросить человека в ужасную тюрьму, и часто лишь по счастливой случайности можно было установить невиновность узника, приговоренного к смертной казни. К тому же Ла-Рени отличался отвратительной внешностью и злобным нравом, и вскоре он заслужил ненависть тех, чьим защитником или мстителем призван был стать. Герцогиня Бульонская, от которой он на допросе хотел узнать, видела ли она черта, ответила: «Мне кажется, я вижу его сейчас».

Меж тем как на Гревской площади потоками лилась кровь виновных и подозреваемых и наконец случаи смерти от тайной отравы стали все реже и реже, объявилась напасть иного рода, вызвавшая новое замешательство. Шайка грабителей словно поставила своей целью завладеть всеми драгоценностями. Богатый убор, едва купленный, исчезал непонятным образом, с какой бы осторожностью его ни хранили. Но всего хуже было то, что всякий, кто решался выходить вечером, имея при себе драгоценности, подвергался ограблению или находил смерть — на улице или где-нибудь в темных переходах дома. Оставшиеся в живых рассказывали, что молниеносный удар кулаком по голове сваливал их с ног, а когда они приходили в себя, то оказывалось, что они ограблены и находятся не там, где их настиг удар, а в совершенно другом месте. У всех убитых, которых почти каждое утро подбирали на улицах или в домах, была одинаковая смертельная рана — удар кинжалом прямо в сердце, удар, по мнению врачей, столь быстрый и верный, что раненый должен был упасть, даже не вскрикнув. А при роскошном дворе Людовика XIV кому не случалось, завязав тайную любовную связь, красться в поздний час к возлюбленной, порою же нести ей и богатый подарок? Грабители, словно они были в союзе с нечистой силой, точно знали, когда должен представиться такой случай. Нередко несчастный не успевал дойти до того дома, где надеялся насладиться счастьем любви, нередко он падал у самого порога, даже у двери в комнату возлюбленной, которая в ужасе находила окровавленный труп.

Тщетно д'Аржансон, министр полиции, приказывал хватать в Париже всякого, кто возбуждал хоть малейшее подозрение, тщетно свирепствовал Ла-Рени, пытаясь вырвать признания, тщетно усиливали стражу, дозоры — следы злодеев не отыскивались. Иные, правда, вооружались с ног до головы и выходили в сопровождении слуги, который нес впереди факел, но и эта мера предосторожности не всегда помогала, так как были случаи, что слугу обращали в бегство, бросив в него камнем, и тут же убивали и грабили господина.

Удивительно было и то, что, несмотря на обыски, производившиеся всюду, где только

могли бы продаваться драгоценности, не обнаруживалось ни одной украденной вещи, так что и этим путем не удавалось напасть на следы преступников.

Дегре был в ярости: мошенники сумели обмануть даже его вопреки всей его изобретательности. Квартал города, где он находился в настоящую минуту, оставался безопасным, зато в других кварталах, где ничего худого нельзя было ждать, грабители-убийцы уже высматривали своих жертв.

Дегре пустился на хитрость — создал нескольких Дегре, столь напомиравших друг друга походкой, манерами, речью, фигурой, что даже и сыщики не могли распознать настоящего Дегре. А тем временем сам он, рискуя жизнью, прятался по темным закоулкам и следовал за тем или иным лицом, которому по его приказанию вручался драгоценный убор. Но на этого человека никто не нападал; значит, грабителям стало известно и об этой ловушке! Дегре впал в отчаяние.

Однажды утром он является к председателю Ла-Рени, бледный, расстроенный, вне себя от ярости.

— Что с вами? Какие новости? Напали на след? — восклицает председатель.

— А-а! господин председатель, — начинает Дегре, заикаясь от негодования, — а-а! господин председатель, вчера ночью, недалеко от Лувра, при мне напали на маркиза Ла-Фар.

— О боже! — ликует Ла-Рени, — они в наших руках!

— Ах, выслушайте, — с горькой улыбкой перебивает его Дегре, — выслушайте сперва, как все произошло. Итак, стою я у Лувра и подстерегаю этих дьяволов, издевающихся надо мною, а в груди у меня бушует ад. И вот неверными шагами, все время оглядываясь, проходит мимо, совсем близко, не замечая меня, какой-то человек. При свете луны я узнаю маркиза де Ла-Фар. Я мог ожидать его появления и знал, куда он пробирается. Но не успел он пройти шагов десять или двенадцать, как вдруг будто из-под земли вырастает какая-то фигура, валит его с ног и набрасывается на него. В эту минуту убийца был почти в моих руках, а я, пораженный неожиданностью, громко вскрикнул и хотел одним прыжком ринуться на него из засады, но тут — запутался в плаще и упал. Я вижу, как человек бежит, словно ветер его несет, поднимаюсь с земли, лечу ему вдогонку, начинаю трубить в рожок, вдали мне отвечают свистки сыщиков, все приходит в движение, со всех сторон уже слышен звон оружия, топот коней. «Сюда, сюда! Дегре! Дегре!» — кричу я на всю улицу. Человек все еще бежит передо мною в лунном свете, и, чтобы сбить меня с толку, он то и дело кидается в разные стороны, мы уже на улице Никез, здесь силы как будто начинают ему изменять, я вдвойне напрягаю свои... между нами не больше пятнадцати шагов...

— Вы нагоняете его... хватаете, прибегают сыщики! — восклицает Ла-Рени, сверкая глазами, и хватает Дегре за руку, словно он и есть убегающий убийца.

— Пятнадцать шагов, — глухим голосом продолжает Дегре, с трудом переводя дыхание, — пятнадцать шагов оставалось между нами, когда этот человек бросился в сторону, в тень, и исчез в стене.

— Исчез? В стене! Да в уме ли вы? — восклицает Ла-Рени, отступив на два шага и всплеснув руками.

— Называйте меня, — продолжает Дегре и трет себе лоб, как человек, которого терзают злые думы, — называйте меня, господин председатель, безумцем, глупым духовидцем, но все было точно так, как я вам говорю. Я стою, ошеломленный, перед стеной, подбегают запыхавшиеся сыщики, с ними — маркиз де Ла-Фар, уже оправившийся от падения, с обнаженной шпагой в руке. Мы зажигаем факелы, ощупываем стену — ни малейшего следа двери, или окна, или какого-нибудь отверстия. Это — толстая каменная стена, отделяющая двор дома, в котором живут люди, тоже не вызывающие ни малейшего подозрения. Я еще сегодня все подробно осмотрел. Сам дьявол водит нас за нос.

Случай с Дегре стал известен в Париже. Все только и думали, что о колдовстве, о заклинании духов, о связи, в которую вступили с дьяволом Ла-Буазен, Ле-Вигуре, священник Лесаж, прославившийся своими преступлениями; как это вообще свойственно человеческой природе, склонность к сверхъестественному, к волшебному взяла верх над разумом, и вскоре

стали верить в то, что действительно сам дьявол, как сказал раздраженный Дегре, защищает злодеев, продавших ему свои души. Легко себе представить, что случай с Дегре еще приукрасили всякими нелепыми выдумками. Рассказ о нем с изображением дьявола — отвратительного существа, проваливающегося сквозь землю на глазах у испуганного Дегре, — был отпечатан и продавался на всех углах. Этого было достаточно, чтобы нагнать страху на народ и даже лишить мужества самих сыщиков, которые теперь с робостью и трепетом блуждали в ночную пору по улицам, обвешавшись амулетами и окропив себя святой водой.

Д'Аржансон, увидев, что усилия *chambre ardente* напрасны, стал просить короля учредить другое, облеченное еще более широкими полномочиями, судилище, которое преследовало бы и карало этих новых преступников. Король, убежденный в том, что он и самой *chambre ardente* предоставил слишком большую власть, и потрясенный бесчисленными казнями, которые совершались по приказанию кровожадного Ла-Рени, решительно отверг этот проект.

Тогда прибегли к другому средству, чтобы повлиять на короля и побудить его принять новые меры.

В покоях Ментенон, где король обычно проводил вечер, а порою и до глубокой ночи занимался со своими министрами, ему передали стихотворение от имени запуганных влюбленных, которые жаловались на то, что, когда учтивость велит им сделать возлюбленной богатый подарок, они всякий раз рискуют жизнью. Честь и радость для рыцаря — в открытом бою проливать ради возлюбленной свою кровь; но иное дело — когда из-за угла на него нападает коварный убийца, от которого нельзя защищаться. Пусть же Людовик, эта ослепительная звезда, озаряющая всякую любовь, своими яркими лучами рассеет глубокий ночной мрак и сорвет покров с черной тайны, гнездящейся в нем. Пусть божественный герой, сразивший столько врагов, и теперь обнажит свой победно сверкающий меч и, подобно тому как Геракл поборол Лернейскую гидру, а Тезей — Минотавра, уничтожит страшное чудовище, которое убивает все утехы любви и омрачает всякую радость, превращая ее в глубокое горе, в безутешную скорбь.

Стихотворение, хотя и касалось дела очень серьезного, не лишено было, однако, игривости и остроумия, особенно в том месте, где описывалось, какой страх приходится испытывать любовникам, когда они пробираются к своим возлюбленным, и как боязнь сразу же убивает всякую радость любви, всю прелесть любовных походов. Под конец все это переходило в высокопарный панегирик Людовику XIV, а потому стихотворение доставило королю явное удовольствие. Прочитав его до конца и продолжая держать перед своими глазами, он быстро повернулся к Ментенон, еще раз прочел стихотворение — на этот раз вслух, и с любезной улыбкой спросил, что она думает о пожелании этих любовников, которым грозят опасности. Ментенон, верная направлению своего ума, склонного к строгой набожности, ответила, что пути тайных походов не достойны, правда, особого покровительства, но что для истребления ужасных преступников нужны были бы особые меры. Король, недовольный столь неопределенным ответом, сложил бумагу и хотел уже идти в соседнюю комнату, где занимался государственный секретарь, как вдруг взгляд его упал на Скюдери, сидевшую в стороне в маленьком кресле неподалеку от Ментенон. Он подошел к ней; любезная улыбка, игравшая на его губах, а потом исчезнувшая, снова появилась, и вот, став у самого кресла и развернув стихотворение, он мягко сказал:

— Маркиза ничего не хочет знать о похождениях наших влюбленных кавалеров и уклоняется от разговоров о запретных тайных путях. Но вы, сударыня, какого вы мнения об этой стихотворной петиции?

Скюдери почтительно встала, мимолетный румянец, точно пурпур заката, окрасил бледные щеки этой достойной дамы, и она проговорила, слегка наклонившись и опустив глаза:

Un amant qui craint les voleurs

N'est point digne d'amour³.

Король, пораженный рыцарственным духом этих слов, которые, при всем своем лаконизме, повергали во прах стихотворение с его бесконечными тирадами, воскликнул, сверкая глазами:

— Вы правы, сударыня, клянусь святым Дионисием! Я не допущу бессмысленных мер, которые, охраняя трусость, будут вместе с виновными губить невинных; а д'Аржансон и Ла-Рени пусть делают свое дело!

* * *

Мартиньер в самых ярких красках описала ужасы, волновавшие весь Париж, когда на другое утро стала рассказывать своей госпоже о ночном происшествии и с дрожью, с робостью передала ей таинственный ящичек. И она и Батист, который с бледным лицом стоял в углу и в страхе и трепете мямл в руках ночной колпак, почти лишившись дара речи, самым жалостным образом, ради всех святых, умоляли госпожу быть поосторожней, когда она начнет открывать ящичек. Скюдери, взвешивая на руке ящичек с запертой в нем тайной, улыбнулась и сказала:

— Вам обоим чудятся какие-то привидения! Что я не богата, что нет у меня сокровищ, из-за которых стоило бы убивать, это проклятые убийцы знают так же хорошо, как вы да я, — они ведь, вы это сами говорите, все выслеживают в домах. Или им нужна моя жизнь. Но какой может быть смысл в смерти семидесятитрехлетней старухи, которая никогда никого не преследовала, кроме злодеев да мятежников в своих же собственных романах, писала посредственные стихи, не способные возбудить чью-либо зависть, и после которой ничего не останется, кроме нарядов старой девы, ездившей иногда ко двору, да нескольких десятков книг в хороших переплетах с золотым обрезаем? И какими бы страшными красками ты, Мартиньер, ни описывала этого незнакомца, приходившего ночью, все-таки я не могу поверить, что у него было что-то недоброе на уме. Итак!

Мартиньер отпрянула шага на три назад, а у Батиста, глухо простонавшего: «Ах!» — чуть было не подкосились ноги, когда госпожа их нажала на ящичке стальную кнопку и крышка, шелкнув, отскочила.

Каково же было изумление Скюдери, когда в ящичке засверкали два украшенных драгоценными камнями золотых браслета и такое же ожерелье. Она вынула эти вещи, и, пока она восхищалась прекрасным ожерельем, Мартиньер любовалась браслетами и восклицала, что даже у гордой Монтеспан нет таких драгоценностей.

— Но что это? Что бы это значило? — вдруг спросила Скюдери. Как раз в ту минуту она заметила на дне ящичка маленькую сложенную записку. Естественно, что в ней она надеялась найти разгадку тайны. Но записка, как только она прочла ее, выпала из дрожащих рук Скюдери. Она подняла к небу умоляющий взор и, чуть не лишившись чувств, упала в кресло. К ней в испуге бросилась Мартиньер, бросился и Батист.

— О! — воскликнула Скюдери, которую душили слезы. — О! какое оскорбление! Какой страшный стыд! И это я должна вынести на старости лет! Неужели я, словно опрометчивая молоденькая девочка, сказала что-то преступное, легкомысленное? О боже! неужели словам, брошенным почти что в шутку, можно придать такой гадкий смысл? Неужели меня, с детских лет никогда не изменявшую долгу и добродетели, смеют обвинять в преступном, адском сообщничестве со злодеями!

Скюдери поднесла к глазам платок, она плакала, она горько рыдала, а Мартиньер и Батист в замешательстве и тревоге не знали, чем бы помочь неутешному горю своей госпожи.

Мартиньер подняла с пола роковую записку. В ней было сказано:

³ Любовник, боящийся воров, недостоин любви (франц.).

«Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour.

Ваш острый ум, сударыня, избавил от тяжелых преследований нас, пользующихся правом сильного и отнимающих у людей слабых и трусливых сокровища, которые они расточили бы недостойным образом. В знак нашей благодарности примите благосклонно этот убор. Это — драгоценнейшая из вещей, которые нам в течение долгого времени удалось раздобыть, хотя вам, милостивая государыня, подобало бы украшение лучшее, чем это. Просим вас и впредь не лишать нас вашего расположения и хранить о нас добрую память.

Незримые».

* * *

— Неужели, — воскликнула Скюдери, когда немного пришла в себя, — неужели до таких пределов может дойти дерзкое бесстыдство, бессовестная насмешка?

Солнце ярко светило сквозь темно-красный шелк занавесей, висевших на окнах, и бриллианты, лежавшие теперь на столе рядом с открытым ящичком, засверкали красноватыми лучами. Взглянув на них, Скюдери в ужасе закрыла руками лицо и велела Мартиньер тотчас же убрать эти страшные драгоценности, на которых алеет кровь убитых. Мартиньер, спрятав ожерелье и браслеты в ящичек, сказала, что лучше всего было бы передать драгоценности министру полиции и сообщить ему о напугавшем их появлении молодого человека и о том, как вручен был ящичек.

Скюдери поднялась с кресла и стала медленно, в молчании расхаживать по комнате, словно раздумывая о том, что ей теперь делать. Потом велела Батисту приготовить портшез, а Мартиньер помочь ей одеться, ибо она тотчас же отправляется к маркизе де Ментенон.

К маркизе она прибыла как раз в такое время, когда, — Скюдери это знала, — с ней можно было поговорить наедине. Ящичек с драгоценностями Скюдери взяла с собой.

Маркиза была очень удивлена, когда увидела Скюдери: та всегда держалась с таким достоинством и, несмотря на свои годы, всегда была любезна, всегда приветлива, а теперь приближалась к ней неверными шагами, бледная и расстроенная. «Да скажите, бога ради, что с вами случилось?» — этими словами Ментенон встретила бедную, испуганную женщину, которая, совсем не владея собой и готовая вот-вот пошатнуться, поспешила опуститься в кресло, подвинутое ей маркизой. Наконец, когда к ней вернулся дар речи, Скюдери рассказала, какую тяжелую, невыносимую обиду она навлекла на себя необдуманной шуткой, которой она ответила на прошение запуганных любовников. Маркиза, узнав все подробности, сказала, что Скюдери принимает слишком близко к сердцу странное происшествие, что злая насмешка проклятых негодяев не может оскорбить чистую и благородную душу, и в заключение пожелала увидеть самый убор.

Скюдери подала ей открытый ящичек, и маркиза, увидев драгоценности, не могла удержаться от громкого крика восхищения. Она вынула ожерелье и браслеты и, подойдя с ними к окну, заставила их играть на солнце, а время от времени подносила к самым глазам эти изящные золотые вещицы, чтобы получше разглядеть, с каким тонким искусством сделаны мельчайшие звенья на сплетенных воедино цепочках.

Маркиза вдруг быстро повернулась к Скюдери и воскликнула:

— А знаете, эти браслеты, это ожерелье мог сделать только Рене Кардильяк, и никто другой!

Рене Кардильяк был в то время лучший в Париже золотых дел мастер, один из самых искусных и вместе с тем странных людей своего времени. Невысокого роста, но крепкого сложения, мускулистый и широкоплечий, Кардильяк, которому было под шестьдесят,

сохранял всю силу, всю подвижность юноши. Об этой необыкновенной силе свидетельствовали рыжие волосы, густые и курчавые, и полное лоснящееся лицо. Если бы Кардильяк не был известен во всем Париже как благороднейший и честнейший человек, бескорыстный, прямой, без всяких задних мыслей, всегда готовый помочь, то странный взгляд его запавших зеленых глазок мог бы показаться подозрительным и заставить подумать, будто перед вами — существо злобное и коварное. Как уже сказано, Кардильяк был искуснейший мастер своего дела — и не только в Париже, но, пожалуй, и во всем мире. Глубокий знаток драгоценных камней, он так умел их шлифовать и давал им такую оправу, что украшение, прежде ничем не замечательное, выходя из мастерской Кардильяка, приобретало чудный блеск. Всякий заказ он принимал с горячей, жадной страстью и назначал цену, явно не соответствовавшую его работе, — так ничтожна была эта цена. Потом самая работа уже не давала ему покоя; и днем и ночью он стучал молотком в своей мастерской, и случалось, что вдруг, когда вещь уже почти готова, ему не понравится форма убора, или он начнет сомневаться в изяществе какой-нибудь оправы, какой-нибудь застежки — достаточный повод для того, чтобы бросить убор в плавильный тигель и начать все сначала. Так каждое его произведение становилось подлинным, непревзойденным шедевром, который повергал заказчика в восторг. Но тогда оказывалось почти невозможным получить от него готовую вещь. Он с недели на неделю, с месяца на месяц под разными предлогами оттягивал ее выдачу. Напрасно предлагали ему двойную цену за его труд, он не желал взять ни одного луидора сверх обусловленной суммы. А когда наконец ему приходилось уступить настояниям заказчика и он отдавал украшение, то не мог скрыть глубокой досады, даже ярости, кипевшей в нем. Когда ему случалось отдавать какой-нибудь замечательный, особенно богатый убор, стоивший, может быть, многих тысяч как по ценности камней, так и по чрезвычайному изяществу золотой оправы, он начинал бегать взад и вперед, словно безумный, проклиная себя, свою работу, все на свете. Но стоило кому-нибудь броситься ему вслед и громко закричать:

— Рене Кардильяк, не возьметесь ли вы сделать красивое ожерелье для моей невесты... браслет для моей любезной? — и тому подобное — он сразу же останавливался и, сверкнув маленькими глазками, говорил, потирая руки:

— Что там у вас такое?

И вот человек вынимает ящичек и говорит:

— Тут — камни, ничего особенного, ничего необыкновенного в них нет, но в ваших руках...

Кардильяк не дает ему кончить, вынимает камни, действительно не слишком ценные, смотрит их на свет и в восхищении восклицает:

— Ого! Ничего особенного?... Как бы не так! Красивые камни!.. Чудесные камни! Дайте мне только приняться за дело!.. А если вам не жаль лишней горсти луидоров, то я прибавлю еще несколько камешков, и они засверкают не хуже солнца...

Заказчик говорит:

— Предоставляю все вам, метр Рене, и заплачу, сколько скажете.

И будь то богатый горожанин или знатный придворный, Кардильяк в неистовом порыве бросается заказчику на шею и целует, и прижимает его к себе, и говорит, что теперь он снова счастлив и что через неделю работа будет готова. Сломая голову он несется домой, к себе в мастерскую, и хватается за молоток, и вот через неделю чудная вещь сделана. Но как только радостный заказчик является снова, чтобы уплатить условленную скромную сумму и взять готовый убор, Кардильяк сердится, становится груб и упрям.

— Но подумайте же, метр Кардильяк, завтра моя свадьба!

— Что мне до вашей свадьбы? Зайдите через две недели.

— Убор готов, вот деньги, я хочу взять его.

— А я вам говорю, что я кое-что должен переделать и не отдам вам его сегодня.

— А я вам говорю, что если вы мне сейчас по-хорошему не отдадите этот убор, за который я, конечно, заплачу вдвое, то я тотчас же приведу сюда стражников д'Аржансона.

— Ну, так пусть сатана вцепится в вас своими раскаленными щипцами, а к ожерелью привесит гирию в три центнера, чтобы задушить вашу невесту! — И с этими словами Кардильяк сует убор жениху за пазуху, хватает его за руку, выталкивает в дверь с такой силой, что тот скатывается с лестницы, а сам разражается дьявольским смехом, глядя в окно, как бедный молодой человек, ковыляя, выходит из дому и платком закрывает окровавленный или разбитый нос. Непонятно было и то, что нередко Кардильяк, с восторгом принявший заказ, вдруг с явными признаками глубокого волнения, даже со слезами и стонами, торжественно заклинал заказчика именем пресвятой девы и всех святых оставить ему вещь, которую он сделал. Напрасно некоторые лица, пользовавшиеся уважением короля и народа, предлагали бешеные деньги, чтобы добиться от Кардильяка малейшей вещицы. Упав к ногам короля, он, как о милости, умолял не принуждать его к выполнению заказов его величества. Также не принимал он ни одного заказа от Ментенон и даже с негодованием и ужасом отверг ее просьбу — сделать маленькое, украшенное эмблемами искусства колечко, которое она собиралась подарить Расину.

— Готова ручаться, — сказала поэтому Ментенон, — готова ручаться, что Кардильяк откажется прийти, если даже я пошлю за ним, чтобы узнать, для кого он сделал этот убор; он будет опасаться заказа, а работать для меня он не желает. Правда, с недавних пор он как будто бросил упрямитесь, я слышала, что сейчас он работает усерднее, чем когда бы то ни было, и сразу же отдает заказанную вещь, но все-таки очень сердится и даже не глядит на заказчика.

Скюдери, которой хотелось, чтобы драгоценности, если это еще возможно, скорее вернулись в руки законного владельца, заметила, что мастеру-чудаку сразу можно сообщить, зачем его зовут; дело идет не о заказе, хотят лишь узнать его мнение о неких драгоценностях. Ментенон одобрила эту мысль. За Кардильяком послали, и он, словно ожидавший этого приглашения, появился в комнате через весьма короткий срок.

Увидев Скюдери, он, видимо, смутился и, словно человек, пораженный неожиданностью и потому забывший о правилах приличия, сперва низко и почтительно поклонился этой достойной даме, а потом лишь повернулся к Ментенон. Указывая на драгоценности, которые сверкали посреди стола, покрытого темно-зеленой скатертью, она поспешила спросить, его ли эта работа. Кардильяк бросил на них беглый взгляд и, неподвижно глядя маркизе в лицо, быстро уложил браслеты и ожерелье в стоявший рядом ящичек, который резким движением оттолкнул от себя. Его красное лицо осветилось безобразной улыбкой, и он ответил:

— Право же, госпожа маркиза, плохо надо знать работу Рене Кардильяка, чтобы хоть одну минуту подумать, будто какой-нибудь другой ювелир может сделать такой убор. Конечно, эта работа моя.

— Скажите же, — продолжала маркиза, — для кого вы сделали этот убор?

— Для себя, — отвечал Кардильяк. — Да, — прибавил, он, увидев, что обе женщины удивлены этим, что Ментенон смотрит на него с недоверием, а Скюдери со страхом ожидает, какой оборот примет дело, — да, может быть, вам это покажется странным, госпожа маркиза, но это так. Я просто из любви к своему искусству отобрал лучшие камни и стал отделять их так тщательно и любовно, как никогда. Недавно убор непонятным образом исчез из моей мастерской!

— Благодарение богу! — воскликнула Скюдери, у которой от радости засверкали глаза, и она быстро и ловко, словно молодая девушка, вскочила с кресла, подошла к Кардильяку и положила руки ему на плечи.

— Возьмите же, — сказала она, — возьмите же, метр Рене, вашу вещь, которую украл у вас какой-то негодяй. — И она подробно рассказала, каким образом попал к ней этот убор. Кардильяк выслушал ее молча, опустив глаза. Время от времени у него вырывались невнятные восклицания: «Вот как!.. Хм!.. Да ну?.. Ого!..»

И он то закладывал руки за спину, то проводил рукой по щекам и подбородку. Когда же Скюдери кончила, у Кардильяка был такой вид, словно он пытается побороть некую странную мысль, пришедшую ему в голову, и не может прийти ни к какому решению. Он тер себе лоб, вздыхал, проводил рукой по глазам, будто стараясь удержать готовые брызнуть слезы.

Наконец он схватил ящичек, который Скюдери протягивала ему, медленно опустился на одно колено и сказал:

— Вам, благородная, достойная госпожа моя, сама судьба предназначила этот убор. Да, теперь лишь я понял, что, работая, думал о вас, что трудился только для вас. Не откажитесь принять этот убор и носить его, это лучшая из всех вещей, которые я сделал за долгие годы.

— Полно, полно, — мило-шутливым тоном возразила Скюдери, — что это вы, метр Рене? Разве мне в мои годы прилично украшать себя драгоценными камнями? И с чего это вы решили сделать мне такой богатый подарок? Полно же, метр Рене, если бы я была красива, как маркиза де Фонтаж, и так же богата, как она, я, право, не рассталась бы с этим убором, но на что мне это суетное великолепие, когда я хожу с закрытой шеей и кожа на руках у меня сморщилась?

Кардильяк между тем поднялся и, подавая Скюдери ящичек и в то же время бросая дикие взгляды, словно не владея собою, сказал:

— Пожалейте меня, сударыня, и возьмите этот убор! Вы и не знаете, как глубоко я чтю вашу добродетель, ваши высокие заслуги! Примите этот ничтожный дар хотя бы как знак моего желания выразить вам мои самые искренние чувства.

Скюдери все колебалась, тогда Ментенон взяла ящичек из рук Кардильяка и сказала:

— Ну что это, сударыня, вы все говорите о ваших летах? А какое нам с вами до них дело, какое нам дело до этого бремени? И разве вы не ведете себя, как молодая застенчивая девушка, которая рада бы заполучить сладкий плод, предлагаемый ей, если бы только можно было обойтись без помощи руки и пальцев? Не отказывайтесь принять в подарок от нашего метра Рене то, чего тысячи других не могут от него добиться ни за какие деньги и несмотря на все просьбы и мольбы!

Ментенон заставила Скюдери взять ящичек, и вот Кардильяк снова бросился на колени, стал целовать платье Скюдери, ее руки, стонал, вздыхал, плакал, всхлипывал, потом вдруг вскочил и, опрокидывая на пути столы и стулья, так что фарфор и хрусталь зазвенели, бросился вон из комнаты.

Испуганная Скюдери воскликнула: «Боже мой! что это с ним приключилось!» Но Ментенон, находясь в особенно веселом, даже шаловливом расположении духа, вообще совершенно ей несвойственном, громко рассмеялась и сказала:

— Ну, сударыня, теперь все объясняется, метр Рене смертельно влюбился в вас и по заведенному порядку, как велит истинная учтивость и давний обычай, атакует ваше сердце богатыми подарками. — Ментенон, продолжая эту шутку, уговаривала Скюдери быть не слишком суровой к полному отчаяния поклоннику.

Скюдери тоже дала волю своей природной веселости и увлеклась кипучим потоком бесконечных забавных выдумок. Она сказала, что, если действительно дело обстоит так, ей наконец придется покориться и явить свету неслыханный пример, став в семьдесят три года и при безупречно аристократическом происхождении невестой ювелира. Ментенон взялась сплести свадебный венок и просветить ее насчет обязанностей хорошей хозяйки, о которых такое молодое и неопытное существо, разумеется, ничего не может знать.

Когда наконец Скюдери встала, собираясь проститься с маркизой, и взяла в руки ящичек с драгоценностями, прежняя озабоченность, несмотря на все эти веселые шутки, снова овладела ею. Она сказала:

— Все-таки я никогда не смогу носить этот убор. Что бы там ни говорили, а он побывал в руках этих адских злодеев, которые с такой дьявольской наглостью, а даже, может быть, и в союзе с самим сатаной, грабят и убивают. Меня пугает кровь, которой будто забрызганы эти блестящие украшения. Да и поведение самого Кардильяка, должна признаться, как-то странно тревожит меня, в нем есть что-то загадочное и зловещее. Не могу отделаться от смутного чувства, будто за всем этим кроется некая ужасная, чудовищная тайна, а когда подумаю о том, как все было, когда припомню все подробности, то просто не могу понять, что же это за тайна и как это честный, безупречный метр Рене, пример доброго, благочестивого горожанина, может быть замешан в дурное и преступное дело. Но знаю одно: я никогда не решусь надеть

этот убор.

Маркиза заметила, что это значило бы чрезмерно поддаться мнительности, но, когда Скюдери попросила ее сказать по совести, что бы она сделала на ее месте, Ментенон твердо и серьезно ответила:

— Скорее бросила бы в Сену этот убор, чем стала бы его носить.

Случай с метром Рене Скюдери описала в весьма милых стихах, которые она на другой вечер в покоях Ментенон прочитала королю. Надо полагать, она не пощадила метра Рене, а также, преодолев трепет, навеваемый мрачным предчувствием, в самых живых красках нарисовала забавный образ семидесятитрехлетней невесты ювелира, принадлежащей к древнейшему дворянскому роду. Как бы то ни было, король от души смеялся и уверял, что она превзошла самого Буало Депрео, и благодаря этой похвале стихотворение Скюдери стали считать самой остроумной вещью, которая когда-либо была написана.

Прошло несколько месяцев, и вот Скюдери случилось как-то ехать через Новый мост в принадлежавшей герцогине Монтансье карете со стеклами. Кареты со стеклами в то время были еще такой новостью, что любопытный народ толпился на улице, когда проезжал подобный экипаж. Также и в этот раз толпа зевак окружила на Новом мосту карету Монтансье, чуть ли не преграждая путь коням. Вдруг Скюдери услышала ругань и проклятья и увидела человека, который пробирался сквозь толпу, сквозь самую ее толщу, толкаясь и всю работу кулаками. А когда он был уже близко, ее поразил острый, пронзительный, полный отчаяния взгляд смертельно бледного юноши. Он ловко прокладывая себе дорогу локтями и кулаками, пристально глядя на нее, пока наконец не добрался до кареты; тут он стремительно распахнул дверцу и бросил какую-то записку, которая упала к Скюдери на колени, после чего молодой человек, все так же толкаясь и толкаемый другими, исчез в толпе. Как только незнакомец появился у дверцы кареты, Мартиньер, ехавшая вместе со Скюдери, с криком ужаса упала на подушки и лишилась чувств. Напрасно Скюдери дергала за шнурок, окликала кучера; тот, словно по внушению некоего злого духа, изо всей силы хлестал лошадей, которые брыкались, с пеной на удилах вставали на дыбы и наконец рысью помчались по мосту. Скюдери вылила весь свой флакончик с нюхательной солью на лежавшую в обмороке Мартиньер, та наконец открыла глаза и, судорожно прижимаясь к своей госпоже, бледная и трепещущая, объятая ужасом и тревогой, с усилием простонала:

— Ради небесной владычицы, что нужно было этому ужасному человеку? Ах, ведь это же он, он самый, принес ящичек в ту страшную ночь!

Скюдери успокоила бедную женщину, убедив ее в том, что ничего плохого не случилось и что теперь остается только ознакомиться с запиской. Она развернула листок и прочла:

«Роковое событие, которое вы одна могли отвратить, толкает меня в пропасть! Заклинаю вас, как сын заклинает мать, к которой не может не тянуться, к которой он полон горячей детской нежности, отдайте метру Рене Кардильяку ожерелье и браслеты, полученные вами через меня, отдайте под каким бы то ни было предлогом — попросите его что-нибудь переделать, что-нибудь в них изменить; ваше благополучие, ваша жизнь зависят от этого. Если до послезавтра вы этого не сделаете, я проникну в ваш дом и покончу с собой на ваших глазах!»

— Теперь ясно, — сказала Скюдери, прочитав записку, — что если этот таинственный человек и принадлежит к шайке проклятых грабителей и убийц, мне-то он не желает зла. Если бы ему в ту ночь удалось поговорить со мной, кто знает, какие загадочные обстоятельства сделались бы мне понятны, какая открылась бы связь между событиями, а теперь я напрасно должна искать хотя бы намека на разгадку. Но, во всяком случае, то, что в этой записке мне предлагают сделать, я сделаю хотя бы для того лишь, чтобы сбить с рук злополучный убор, который мне начинает казаться адским талисманом, дьявольским даром. А Кардильяк, по своему обыкновению, не так-то легко выпустит его из рук.

Скюдери на следующий же день хотела отвезти убор к мастеру. Но именно в то утро все блестящие умы Парижа как будто сговорились атаковать ее, кто — стихотворением, кто — трагедией, кто — анекдотом. Едва Лашапель дочитал сцену из трагедии и с лукавым видом

стал уверять, что теперь-то он одержит победу над Расином, как появился сам Расин и патетической тирадой какого-то короля сразил Лашапеля, а под конец сам Буало осветил черный трагический небосклон фейерверком своего остроумия, только чтобы не слышать вечных разговоров о Луврской колоннаде, зодчий которой — доктор Перро доказал ему свою правоту.

Было уже далеко за полдень, Скюдери пришлось ехать к герцогине Монтансье, и, таким образом, посещение метра Рене Кардильяка было отложено до следующего утра.

Скюдери овладело какое-то странное беспокойство. Все время перед ее глазами стоял незнакомый юноша, и какое-то смутное воспоминание, всплывая из глубины души, словно говорило ей, что она уже видела это лицо, эти черты. Тревожные сны нарушали дремоту, ей казалось, что легкомыслием, даже преступлением было с ее стороны не протянуть руку помощи несчастному, который, падая в бездну, взывал к ней; ей казалось, что в ее власти было помешать какому-то гибельному событию, какому-то страшному преступлению. Едва только наступило утро, она велела себя одеть и, захватив ящичек с убором, поехала к золотых дел мастеру.

На улицу Никез, туда, где жил Кардильяк, потоком неслась толпа, — теснилась, собиралась у дверей его дома, кричала, шумела, неистовствовала, хотела ворваться в комнаты, так что стража, окружившая дом, не без труда сдерживала ее натиск. Среди этого дикого и беспорядочного шума слышались гневные голоса: «Смерть ему! Разорвать на куски проклятого убийцу!» Наконец появляется Дегре в сопровождении большего отряда, и народ расступается, чтобы дать ему дорогу. Дверь распаивается, выводят человека в цепях и волокут его под дикие проклятия разъяренных людей. В ту минуту, когда это зрелище представляется глазам Скюдери, уже полуживой от страха и исполненной зловещих предчувствий, до слуха ее доносится пронзительный вопль. «Вперед! вперед!» — вне себя кричит она кучеру, который, ловко и быстро повернув экипаж, заставляет несметную толпу расступиться и останавливается у самого входа в дом. Скюдери видит Дегре, а у ног его — молодую девушку, прекрасную, как день, полуодетую, с распущенными волосами, с печатью безумного страха и глубочайшего отчаяния на лице; девушка обнимает колени Дегре и восклицает голосом, от которого сердце разрывается — такая смертельная, страшная в нем скорбь: «Ведь он невиновен, он невиновен!» Напрасно Дегре и его люди стараются оттолкнуть ее, поднять с земли. Наконец какой-то грубый силач неуклюжими лапами схватывает ее, с силой оттаскивает от Дегре, сам спотыкается, выпускает девушку, она скатывается по каменным ступеням и, безгласная, как будто мертвая, падает на мостовую. Скюдери уже не может сдержаться.

— Ради самого создателя, что случилось, что здесь такое? — восклицает она, отворяет дверцу, выходит из кареты. Народ с уважением расступается перед этой почтенной дамой, а она, увидев, что две сострадательные женщины подняли девушку, усадили ее на ступени, растирают ей виски, подходит к Дегре и резким тоном повторяет свой вопрос.

— Случилось страшное дело, — отвечает Дегре, — сегодня утром Рене Кардильяка нашли мертвым, он убит ударом кинжала. Убийца — его же подмастерье Оливье Брюссон. Он только что отправлен в тюрьму.

— А девушка? — спрашивает Скюдери.

— Мадлон, дочь Кардильяка, — спешит ответить Дегре. — Преступник был ее возлюбленный. Теперь она плачет и все время вопит, что Оливье невиновен, совершенно невиновен. Возможно, она и знает о преступлении, и мне придется ее тоже отвести в Консьержери. — Сказав это, Дегре бросил на девушку такой свирепый и злорадный взгляд, что Скюдери содрогнулась. В эту минуту девушка испустила слабый вздох; все же она еще была не в силах двинуться, оставалась все так же безгласна, лежала с закрытыми глазами, и в толпе не знали, нести ли ее в дом или еще пытаться привести в чувство. Скюдери, глубоко потрясенная, со слезами на глазах смотрела на этого невинного ангела. Дегре и его товарищи вызывали в ней ужас. Вдруг на лестнице послышался глухой шум: это несли труп Кардильяка. Быстро приняв решение, Скюдери закричала:

— Я беру девушку к себе, об остальном, Дегре, позаботитесь вы!

Приглушенный ропот одобрения прошел по толпе. Женщины подняли Мадлон, все бросились вперед, сотни рук старались помочь им, девушку, как бы парившую в воздухе, перенесли в карету, и все благословляли почтенную даму, вырвавшую невинное существо из рук кровавого суда.

Серону, самому знаменитому парижскому врачу, удалось наконец после долгих усилий привести в чувство Мадлон, долго пролежавшую в состоянии полного оцепенения. Скюдери завершила дело, начатое врачом, и благодаря ей кроткий луч надежды проник в душу девушки, а потом слезы обильным потоком хлынули из ее глаз и стесненное дыхание облегчилось. Правда, она и теперь не в силах была совладать со своим непомерно мучительным горем, и временами рыдания заглушали ее слова, но все же она смогла рассказать, как все произошло.

Около полуночи ее разбудил легкий стук в дверь, и она услышала голос Оливье, умолявшего ее тотчас же встать, потому что отец — при смерти. Она в ужасе вскочила с постели и отворила дверь. Оливье, бледный, с искаженным лицом, весь в поту, со свечой в руке, неверными шагами направился в мастерскую, она пошла за ним. Там лежал с неподвижным взором ее отец и хрипел в агонии. Она с воплем бросилась к нему и только тогда заметила, что рубашка его окровавлена. Оливье тихо отвел ее в сторону, а сам стал обмывать рану на левой стороне груди, прикладывая к ней бальзам, и пытался перевязать ее. Между тем к отцу вернулось сознание, хрипение прекратилось, и вот, бросив сперва на нее, а потом на Оливье исполненный чувства взгляд, он схватил ее руку, вложил ее в руку Оливье и соединил их в крепком пожатии. Оба они упали на колени у постели отца, он пронзительно вскрикнул, приподнялся, но снова тотчас же упал на подушку, испустил глубокий вздох и умер. Мадлон и Оливье громко зарыдали. Оливье рассказал ей, что хозяин, приказавший ему идти вместе с ним ночью по какому-то делу, был убит на его глазах и что он с величайшим трудом принес домой тяжелое тело, не предполагая, что рана Кардильяка смертельна. Когда настало утро, домочадцы, которых встревожил шум, плач и вопли, раздававшиеся ночью, вошли в комнату и застали обоих в безутешном горе, все еще на коленях перед трупом отца. Молва о случившемся быстро разнеслась, в дом явилась стража, и Оливье как убийцу хозяина увели в тюрьму. Мадлон в самых трогательных красках изобразила добродетели своего дорогого Оливье, его кротость, его верность. Рассказала, как он, словно родного отца, чтит метра Рене, а хозяин отвечал ему такою же любовью; как отец, несмотря на бедность Оливье, избрал его себе в зятя, ибо тот в такой же мере был искусным работником, в какой был преданным и благородным человеком. Мадлон всю свою душу вложила в эти слова, а в заключение прибавила, что, если бы Оливье на ее глазах вонзил нож в грудь ее отца, она скорее сочла бы это за дьявольское наваждение, чем поверила, будто Оливье способен на чудовищное злодейство.

Скюдери, глубоко тронутая беспредельными страданиями Мадлон и склонная считать невинным бедного Оливье, навела справки, и все, что Мадлон рассказывала об отношениях между хозяином и его подмастерьем, подтвердилось. Слуги и соседи единодушно считали Оливье примером добронравия, благочестия, преданности и усердия, никто ничего дурного о нем не знал, и все же, когда речь заходила о страшном преступлении, каждый пожимал плечами и говорил, что здесь кроется нечто непостижимое.

Оливье, представ перед *chambre ardente*, с величайшей твердостью и мужеством, как узнала Скюдери, отрицал взводимое на него обвинение, утверждая, что хозяин в его присутствии подвергся нападению на улице и был ранен, но что он, Оливье, еще живым принес его домой, где тот вскоре и скончался. Таким образом, показания Оливье вполне соответствовали тому, что говорила Мадлон.

Скюдери выпытывала у Мадлон все новые и новые подробности страшного события, даже самые мелкие. Она выспрашивала, не случилось ли когда-нибудь ссоры между хозяином и подмастерьем, не отличался ли Оливье вспыльчивостью, внезапным приступам которой, точно припадкам слепого безумия, бывают подвержены и добродушнейшие люди, способные

тогда на поступки, уже независящие, казалось бы, от их воли. Но чем восторженнее говорила Мадлон о спокойной и счастливой домашней жизни, что связывала этих трех человек, так искренне друг друга любивших, тем бледнее становилась тень подозрения, павшего на Оливье, который теперь обвинялся в убийстве. Тщательно все обдумав и даже допуская, что убийцей все-таки был Оливье, несмотря на все обстоятельства, говорившие за его невиновность, Скюдери не находила причины, которая могла бы толкнуть его на ужасное преступление, ибо во всяком случае оно должно было разрушить его же собственное счастье. Он беден, но он искусный работник. Ему удалось завоевать расположение знаменитейшего мастера, он любит его дочь, мастер благосклонно относится к этой любви, впереди счастье и довольство на всю жизнь! Но если даже предположить, что Оливье, охваченный гневом, — бог весть почему, — злодейски убил своего благодетеля, своего отца, то какое адское притворство нужно для того, чтобы, совершив преступление, держать себя так, как он! Твердо убежденная в невиновности Оливье, Скюдери решила во что бы то ни стало спасти невинного юношу.

Ей казалось, что, прежде чем взывать к королю о милости, лучше всего было бы обратиться к председателю Ла-Рени, указать ему на все обстоятельства, свидетельствующие в пользу Оливье, и, пожалуй, постараться внушить ему мнение, благоприятное для обвиняемого, мнение, которое могли бы разделить и судьи.

Ла-Рени принял Скюдери с глубоким почтением, на что она, пользуясь уважением самого короля, с полным основанием могла рассчитывать. Он спокойно выслушал все, что она рассказала о страшном злодеянии, об обстоятельствах жизни Оливье, о его характере. Тонкая, почти злобная улыбка была, однако, единственным признаком того, что председатель не пропустил мимо ушей ее увещаний и сопровождавшихся обильными слезами рассуждений об обязанностях судьи, который должен быть не врагом обвиняемого, а принимать в расчет все говорящее в его пользу. Когда наконец Скюдери в полном изнеможении, вытирая слезы, замолчала, Ла-Рени сказал:

— Сударыня, вашему доброму сердцу делает честь, что вы, тронутая слезами молоденькой влюбленной девушки, верите ее словам, что вы даже не можете допустить и мысли о таком страшном злодеянии, но иное дело — судья, привыкший срывать маску с самого наглого притворства. В мои обязанности, конечно, не входит рассказывать о ходе уголовного процесса всякому, кто меня об этом спрашивает. Я исполняю мой долг, сударыня, и мнение света мало заботит меня. Злодеи должны трепетать перед *chambre ardente*, — которая не знает других кар, кроме огня и крови. Но я не хотел бы, чтобы вы, сударыня, сочли меня за чудовище, за изверга, и поэтому позволю себе в немногих словах рассказать вам о преступлении злодея, который, — благодарение небу, — не избежит кары. Ваш проницательный ум сам тогда осудит то добросердечие, которое делает вам честь, но вовсе не подобало бы мне. Итак, утром Рене Кардильяк найден мертвым, убитый ударом кинжала. При нем — только подмастерье Оливье Брюссон и его дочь. В комнате Оливье среди прочих вещей находят кинжал, покрытый свежей кровью и точно соответствующий размерам раны. «Кардильяк, — говорит Оливье, — был ранен ночью на моих глазах». — «Его хотели ограбить?» — «Этого я не знаю». — «Ты шел с ним и не мог помешать убийце? Задержать его? Позвать на помощь?» — «Хозяин шел на пятнадцать или двадцать шагов впереди меня, я следовал за ним». — «Почему же так далеко?» — «Так велел хозяин». — «А что вообще делал метр Кардильяк на улице в столь поздний час?» — «Этого я не могу сказать». — «Но прежде он ведь никогда не уходил из дому после девяти часов?» Тут Оливье запинается, он смущен, он вздыхает, льет слезы, клянется всем, что есть святого, и уверяет, что Кардильяк действительно уходил в ту ночь и был убит. Но обратите внимание вот на что, сударыня. Положительно доказано, что Кардильяк в ту ночь не покидал дома; тем самым слова Оливье, что он выходил с ним на улицу, оказываются наглой ложью. Наружная дверь снабжена тяжелым замком, который, когда дверь отворяют или затворяют, производит страшный шум, да и самая дверь поворачивается на петлях с таким отвратительным скрипом и воем, что даже в верхнем этаже, как проверено, все это можно слышать. В нижнем этаже, совсем близко от

наружной двери, живет старик метр Клод Патрю со своей служанкой, женщиной лет восьмидесяти, однако еще бодрой и подвижной. И она и он слышали, как в тот вечер метр Кардильяк, по заведенному обычаю, ровно в девять часов спустился по лестнице, с великим шумом запер дверь, опустил крюк, затем поднялся к себе, громко прочитал вечернюю молитву и пошел в свою спальню, о чем можно было догадаться по стуку захлопнувшейся двери. Метр Клод страдает бессонницей, как это часто бывает со старыми людьми. Он и в ту ночь не мог сомкнуть глаз. Поэтому служанка прошла в кухню, куда попадают через сени, — это было около половины десятого, — зажгла свет, потом села к столу в комнате метра Клода и стала читать старую хронику, а тем временем ее хозяин, занятый своими мыслями, то садился в кресло, то вставал и, чтобы утомить себя и нагнать на себя сон, неслышными и медленными шагами прохаживался по комнате. До полуночи все было тихо и спокойно. Потом они услышали над головой тяжелые шаги, шум как будто от падения чего-то тяжелого и сразу же затем — глухие стоны. Оба они почувствовали Какой-то страх, гнетущую тревогу. Ужасное злодеяние, только что совершившееся, как будто и на них навеяло трепет. При свете утра стало ясно то, что случилось во мраке ночи... — Но ответьте мне, ради всех святых, — перебила его Скюдери, — неужели же, несмотря на все то, о чем я так обстоятельно рассказала, вы находите какую-нибудь причину, которая подвигла бы Оливье на это адское злодеяние?..

— Хм, — ответил Ла-Рени, — Кардильяк не был беден, он владел превосходными камнями.

— Но разве, — продолжала Скюдери, — все это не должно было достаться дочери? Вы забываете, что Оливье готовился стать зятем Кардильяка.

— Возможно, что Оливье вынужден был с кем-нибудь делиться или даже совершил убийство по чьему-то наущению, — ответил Ла-Рени.

— Делиться? По чьему-то наущению? — переспросила совершенно озадаченная Скюдери.

— Да будет вам известно, сударыня, — продолжал председатель, — да будет вам известно, что Оливье давно уже был бы обезглавлен на Гревской площади, если бы его преступление не было связано с той глубокой тайной, которая до сих пор столь страшной угрозой тяготела над всем Парижем. Оливье, очевидно, принадлежит к той проклятой шайке, которая, словно бы издеваясь над всеми усилиями суда, над всеми нашими поисками и попытками, смело и безнаказанно орудовала здесь. Через него мы все узнаем... все должны узнать. Рана Кардильяка совершенно такая же, какие оказывались у всех убитых и ограбленных, где бы ни случилось нападение — на улице или в доме. Но самое главное — это то, что со времени ареста Брюссона все убийства и грабежи прекратились. Улицы ночью так же безопасны, как и днем. Достаточное доказательство, что Оливье мог стоять во главе этой шайки злодеев. Он еще не признается, но есть способы заставить его говорить и против его желания.

— А Мадлон, — воскликнула Скюдери, — а Мадлон, верная, невинная голубка?

— Ну, — сказал Ла-Рени с ядовитой улыбкой, — кто может поручиться, что и она не была сообщницей? Что ей смерть отца, она плачет только об этом злодее!

— Да что вы говорите! — воскликнула Скюдери. — Этого быть не может! Убить отца! Такая девочка!

* * *

— О! — продолжал Ла-Рени, — о! вспомните хотя бы о Бренвилье! Вы меня извините, если мне, может быть, вскоре придется взять от вас эту девушку и отправить ее в Консьержери.

Скюдери ужаснуло такое подозрение. Ей показалось, что для этого страшного человека не существует ни верности, ни добродетели, что и в самых затаенных, самых сокровенных мыслях человека он отыскивает преступления и убийства.

— Будьте человечнее! — это все, что она, чувствуя стеснение в груди, с трудом могла проговорить.

Когда она уже собиралась спуститься с лестницы, до которой председатель с церемонной учтивостью ее проводил, в голову ей — совершенно неожиданно — пришла странная мысль.

— Не будет ли мне позволено повидать несчастного Оливье Брюссона? — спросила она, быстро обернувшись к председателю.

Ла-Рени в нерешительности посмотрел на нее, потом на лице его появилась свойственная ему отталкивающая улыбка.

— Вы, сударыня, — молвил он, — наверно, сами хотите убедиться в виновности или невинности Оливье и вашему чувству, голосу вашего сердца доверяете больше, чем тому, что видели ваши глаза. Если вас не пугает встреча с преступником, если вам не противно будет увидеть картину порока во всем ее многообразии, то через два часа ворота Консьержери для вас откроются. К вам приведут этого Оливье, в судьбе которого вы принимаете такое участие.

Скюдери действительно не могла поверить в виновность юноши. Все говорило против него, и при таких бесспорных уликах ни один судья не поступил бы иначе, чем Ла-Рени. Но картина семейного счастья, которую такими живыми красками изобразила Мадлон, рассеивала в глазах Скюдери всякое подозрение, и она скорее готова была допустить, что имеет дело с неразрешимой тайной, чем поверить в нечто такое, против чего восставало все ее существо.

Она решила, что заставит Оливье рассказать о событиях той роковой ночи и, насколько возможно, проникнет в тайну, которая, быть может, потому осталась скрытой от судей, что им показалось бесполезным продолжать свои попытки.

Скюдери приехала в тюрьму, и ее провели в большую светлую комнату. Вскоре послышался звон цепей. Оливье Брюссона привели. Но не успел он войти в дверь, как Скюдери лишилась чувств и упала. Когда она пришла в себя, Оливье уже не было в комнате. Она в волнении потребовала карету, ей хотелось сейчас же, не медля ни минуты, покинуть это место, где царят преступление и злодейство. Ах! В Оливье Брюссоне она с первого же взгляда узнала молодого человека, который на Новом мосту бросил ей в карету записку, того самого, который принес ей и ящичек с драгоценностями. Теперь исчезло всякое сомнение, ужасная мысль Ла-Рени подтвердилась. Да, Оливье принадлежит к шайке тех страшных злодеев, и, конечно, это он убил своего хозяина! А Мадлон? Внутреннее чувство никогда еще так горько не обманывало Скюдери, с ней как бы в смертельную схватку вступили теперь все силы ада, в существование которых на земле она прежде даже и не верила, и она готова была усомниться в существовании самой истины. В душу ее проникало страшное подозрение, что Мадлон тоже сообщница Оливье и что она, может быть, замешана в этом кровавом и гнусном деле. И как всегда случается, что человек, представив себе какую-нибудь картину, ищет и находит краски, которыми все ярче и ярче расцветивает ее, так и Скюдери, взвесив все обстоятельства дела, все поведение Мадлон, нашла немалую пищу для своих подозрений. И кое-что, до сих пор бывшее в ее глазах доказательством невинности и чистоты, стало для нее теперь бесспорным признаком наглого коварства, искусного лицемерия. Тот душу раздирающий вопль и те кровавые слезы могли быть следствием смертельного страха — но не страха увидеть казнь любимого, нет, страха перед собственной гибелью от руки палача. Тотчас же прогнать эту змею, которую она отогрела у себя на груди, — таково было решение, принятое Скюдери, когда она выходила из кареты. Как только она вошла в свою комнату, к ногам ее бросилась Мадлон. Глядя на Скюдери глазами, полными такого чистосердечия, что, казалось, лишь взор ангела мог бы сравниться с небесным взглядом этих очей, прижимая руки к трепещущей груди, Мадлон стонала и молила о помощи, об утешении. Скюдери, с усилием овладев собою и стараясь придать своему голосу как можно более спокойствия и строгости, сказала:

— Да! да! Можешь утешиться, убийцу ожидает справедливая кара за его позорные дела. Пресвятая дева да не позволит, чтобы и на тебя легло бремя кровавой вины!

— Ах! Теперь всему конец! — и с этим пронзительным возгласом Мадлон упала без чувств. Скюдери поручила девушку заботам Мартиньер и удалилась в другую комнату.

В разладе с окружающей жизнью и глубоко терзаясь, Скюдери испытывала одно желание — поскорее уйти из этого мира, полного такой адской лжи. Она сетовала на судьбу, которая в горькую насмешку дала ей прожить столько лет, чтобы укрепить ее веру в честность и добродетель, и вот теперь, на старости, разрушает прекрасную мечту, сиявшую ей в жизни.

Она слышала, как Мадлон, которую уводила Мартиньер, с тихим вздохом жалобно сказала: «Ах! и ее, и ее тоже обманули эти жестокие люди! О, я несчастная... бедный, несчастный Оливье!» Слова эти проникли в сердце Скюдери, и снова где-то глубоко-глубоко шевельнулась мысль о том, что здесь есть некая тайна, что Оливье невиновен. Охваченная самыми противоречивыми чувствами, Скюдери в отчаянии воскликнула: «Что за адская сила втянула меня в эту цепь чудовищных событий, которые мне будут стоить жизни!» В эту минуту, бледный, испуганный, вошел Батист с известием, что явился Дегре. Со времени страшного процесса Ла-Вуазен Дегре, куда бы он ни являлся, становился несомненным предвестником какого-нибудь тяжелого обвинения, и вот чем был вызван испуг Батиста, и вот почему Скюдери спросила его с кроткой улыбкой: «Что с тобой, Батист? Уж не оказалось ли в списке Ла-Вуазен также имя Скюдери?»

— Ах, помилуйте, — ответил ей Батист, дрожа всем телом, — как это вы можете говорить такое? Но Дегре... страшный Дегре — вид у него такой таинственный, — он хочет вас видеть непременно, требует, чтобы его провели к вам, ждет не дожидается!

— Ну что ж, Батист, — молвила Скюдери, — веди сюда этого человека, которого ты так боишься и который во мне по крайней мере не может возбудить ни малейшего беспокойства.

— Председатель Ла-Рени, — сказал Дегре, войдя в комнату, — посылает меня к вам, сударыня, с просьбой, на исполнение которой он даже не мог бы и рассчитывать, если бы ему не известна была ваша добродетель, ваша смелость, если бы не в вашей власти было последнее средство раскрыть кровавое преступление, если бы сами вы не пожелали принять участие в процессе, не дающем покоя *chambre ardente*, не дающем покоя и нам всем. Оливье Брюссон словно обезумел с тех пор, как видел вас. Если до того он уже склонялся к признанию, то теперь он опять именем Христовым и всеми святыми клянется, что неповинен в убийстве Кардильяка, хотя и рад будет пригнать смерть, которую он заслужил. Заметьте, сударыня, эти слова явно указывают на другие преступления, которые лежат на нем. Но напрасны все старания добиться от него хотя бы еще одного слова, даже и угроза пытки ни к чему не привела. Он молит, заклинает нас позволить ему поговорить с вами: только вам, вам одной он хочет признаться во всем. Согласитесь же, сударыня, выслушать признание Брюссона.

— Как! — с возмущением воскликнула Скюдери, — мне быть орудием кровавого судилища, мне употребить во зло доверие этого несчастного, отправить его на эшафот? Нет, Дегре, даже если Брюссон — гнусный убийца, и то я никогда не смогла бы так бесчестно обмануть его. Я не хочу знать его тайну, которая, как священная тайна исповеди, была бы навеки похоронена в моей груди.

— Быть может, — с легкой усмешкой заметил Дегре, — быть может, сударыня, взгляд ваш изменится, когда вы услышите самого Брюссона. Разве вы не просили председателя быть более человечным? Он исполняет вашу просьбу, соглашаясь на безумное требование Брюссона и тем самым испытывая последнее средство, прежде чем применить пытку, которую Брюссон давно уже заслужил.

Скюдери невольно вздрогнула.

— Видите ли, сударыня, — продолжал Дегре, — видите ли, от вас не потребуют, чтобы вы еще раз шли под те мрачные своды, которые внушают вам ужас и отвращение. Оливье приведут к вам в дом, как свободного человека, ночью, не возбуждая чьего бы то ни было внимания. За ним будут следить, но подслушивать не будут, так что он сможет свободно во всем признаться вам. Вам самой нечего опасаться этого несчастного, за это я жизнью готов отвечать. О вас он говорит с благоговением. Он клянется, что только злой рок, не позволивший ему раньше увидеться с вами, привел его к гибели. А из всего, что расскажет

Брюссон, вы сообщите нам ровно столько, сколько найдете нужным. Кто может заставить вас поступить иначе?

Взгляд Скюдери был исполнен глубокой задумчивости. Ей казалось, что она должна повиноваться высшей силе, требующей от нее разгадки страшной тайны, что она уже не может вырваться из этих странных пут, в которые попала против своей воли. Внезапно решившись, она с достоинством ответила Дегре:

— Бог поддержит меня и даст мне твердость духа.

Приведите ко мне Брюссона, я с ним поговорю.

Так же как и в тот раз, когда Брюссон принес ящичек, в полночь раздался стук в наружную дверь. Батист, предупрежденный о ночном посещении, отворил. Ледяной трепет охватил Скюдери, когда по тихому звуку шагов, по приглушенному шепоту она поняла, что стража, приведшая Брюссона, разместилась в доме.

Наконец дверь тихо отворилась. Вошел Дегре, следом за ним — Оливье Брюссон, освобожденный от цепей, в приличном платье.

— Вот, — молвил Дегре, почтительно кланяясь, — вот Брюссон, сударыня! — и вышел из комнаты.

Брюссон опустился перед Скюдери на колени, с мольбой простер к ней сложенные руки, и слезы потоком полились из его глаз.

Побледнев, не в силах вымолвить и слово, Скюдери глядела на юношу. Черты его лица изменены, искажены были страданием, горькими муками и вместе с тем являли выражение чистой искренности. Чем дольше Скюдери вглядывалась в лицо Брюссона, тем ярче оживала в ней память о каком-то человеке, которого она любила когда-то, но не могла отчетливо вспомнить теперь. Все страхи рассеялись, она забыла, что на коленях перед ней — убийца Кардильяка, и спросила тем спокойно-благожелательным и милым тоном, который был ей свойствен:

— Ну, что же вы хотите мне сказать, Брюссон?

Юноша, по-прежнему стоя на коленях, с неподдельной глубокой тоской вздохнул и сказал:

— Ах, сударыня, неужели же вы, которую я так почитаю, ставлю так высоко, неужели вы совсем не помните меня?

Скюдери, вглядываясь в него еще пристальнее, ответила, что она действительно нашла в чертах его лица сходство с кем-то, кто был ей когда-то дорог, и только этому сходству он обязан тем, что она, преодолевая в себе глубокое отвращение к убийце, спокойно слушает его. Брюссону слова эти причинили острую боль, он быстро встал и, опустив долу мрачный взор, отступил на один шаг. Потом он глухо произнес:

— Так вы совсем забыли Анну Гийо? Перед вами ее сын Оливье, тот мальчик, которого вы качали на коленях.

— О боже! боже! — воскликнула Скюдери, обеими руками закрыв лицо и опускаясь на подушки. Недаром Скюдери пришла в такой ужас. Анна Гийо, дочь обедневшего горожанина, с малых лет находилась в доме Скюдери, которая воспитала ее и с материнской любовью о ней заботилась. Став взрослой, она познакомилась с красивым, добрых нравов юношей, по имени Клод Брюссон, и он посватался к ней. Ему как очень искусному часовщику был в Париже обеспечен прекрасный заработок, а девушка всей душой его любила, потому Скюдери и не поколебалась дать согласие на брак своей приемной дочери. Молодые устроились, зажили тихой и счастливой семейной жизнью, и любовные узы стали еще крепче, когда у них родился сын, красивый мальчик, вылитый портрет своей милой матери.

Скюдери боготворила маленького Оливье, которого на целые часы, даже целые дни разлучала с матерью, лаская и балуя его. Мальчик совершенно привык к ней и оставался с нею так же охотно, как с родной матерью. Прошло три года, и из-за происков товарищей по ремеслу, соперничавших с Брюссоном, работы у него с каждым днем становилось меньше, а под конец ему уже с трудом удавалось прокормить себя и семью. К тому же им овладела тоска по прекрасной родной Женеве, и вот он вместе с женой и сыном переселился туда, хотя

Скюдери и обещала им всяческую поддержку, лишь бы они не уезжали. Анна несколько раз писала своей приемной матери, потом писем больше не было, и Скюдери заключила, что счастливая жизнь на родине Брюссона изгладила воспоминание о прошлых днях.

Теперь исполнилось ровно двадцать три года с тех пор, как Брюссон со своей семьей покинул Париж и переехал в Женеву.

— О ужас, — воскликнула Скюдери, когда немного пришла в себя, — о ужас! Ты — Оливье? Сын моей Анны!..

— Наверно, — спокойно и твердо сказал Оливье, — вы, сударыня, никогда не думали, что мальчик, которого вы баловали, как самая нежная мать, качали на коленях, кормили лакомствами, называли самыми ласковыми именами, возмужав, предстанет перед вами обвиненный в кровавом злодеянии? Меня есть в чем упрекнуть, *chambre ardente* имеет право покарать меня как преступника, но — клянусь спасением моей души! Пусть умру от руки палача! — я никогда не проливал крови, и не по моей вине погиб несчастный Кардильяк!

Оливье задрожал, зашатался при этих словах. Скюдери молча указала ему на стоявшее возле нее креслице. Юноша медленно опустился в него.

— У меня, — начал он, — было время подготовиться к свиданию с вами, на которое я смотрю как на последний дар смилостивившегося неба, и запастись спокойствием и твердостью, необходимыми для того, чтобы рассказать вам историю моих страшных, моих неслыханных несчастий. Будьте милосердны и выслушайте меня спокойно, как бы ни ужаснула вас тайна, о которой вы и не подозревали, а теперь она откроется вам. Ах, если бы мой бедный отец никогда не уезжал из Парижа! Сколько я помню нашу жизнь в Женеве, я все время чувствую на себе лишь слезы моих безутешных родителей, их жалобы, которые, хоть я их и не понимал, тоже доводили меня до слез. Лишь позднее я отчетливо осознал и по-настоящему понял, в какой глубокой нищете жили отец и мать, какие тяжелые лишения они терпели. Отец обманулся во всех своих надеждах. Сокрушенный горем, совершенно разбитый, он скончался сразу после того, как ему удалось пристроить меня в ученики к золотых дел мастеру. Мать много о вас говорила, обо всем собиралась вам написать, но всякий раз ей мешало малодушие, — порождение нищеты. Малодушие и ложный стыд, что терзает смертельно раненное сердце, не давали ей исполнить это намерение. Через несколько месяцев после смерти отца и мать последовала за ним в могилу.

— Бедная Анна! бедная Анна! — в горе воскликнула Скюдери.

— Хвала и благодарение небесам, что ее уже нет в живых и она не увидит, как любимый сын ее, заклеянный позором, падет от руки палача! — Эти слова Оливье громко прокричал, и во взоре его, обращенном ввысь, было дикое отчаяние.

За дверью послышался шум, — кто-то расхаживал там.

— Ого! — с горькой усмешкой сказал Оливье. — Дегре будит своих товарищей, как будто я могу отсюда убежать! Однако продолжу мой рассказ. Хозяин обращался со мною строго, хотя вскоре я стал лучшим учеником и под конец даже превзошел его самого. Однажды в нашу мастерскую зашел приезжий, собиравшийся купить какие-то драгоценности. Когда ему на глаза попало красивое ожерелье моей работы, он похлопал меня по плечу и, любуясь этой вещью, приветливо сказал: «Э-э, молодой друг мой, да это же превосходная работа. Право, я не знаю, кто бы мог с вами сравниться, если не считать Рене Кардильяка, — а он, конечно, самый великий ювелир на свете. Вот к кому вам надо было бы пойти; он с радостью примет вас в свою мастерскую, потому что вы один могли бы помогать ему в его замечательной работе и только у него вам есть чему поучиться». Слова незнакомца запали мне в душу. В Женеве я уже не находил себе покоя, могучая сила влекла меня прочь. Мне наконец удалось уйти от своего хозяина. Я приехал в Париж. Рене Кардильяк принял меня холодно и сурово. Но я не отставал от него, пока он не дал мне работу, правда самую незначительную. Я должен был сделать маленькое колечко. Когда я принес ему свою работу, он уставился на меня сверкающими глазами, как будто хотел заглянуть мне в душу. А потом сказал: «Ты хороший и умелый подмастерье, можешь поселиться у меня в доме и работать в мастерской. Я буду хорошо платить тебе, останешься доволен». Кардильяк свое слово сдержал. Я уже

несколько недель жил у него, но еще не видел Мадлон, которая, если не ошибаюсь, находилась в то время в деревне у какой-то тетки. Наконец она приехала. О боже, что со мною было, когда я увидел этого ангела! Любил ли кто-нибудь так, как я? А теперь!.. О моя Мадлон!..

Оливье, охваченный тоскою, не мог продолжать. Он закрыл лицо руками и горько зарыдал. Наконец, с трудом преодолев свое безумное отчаяние, он вновь обратился к прерванному рассказу:

— Мадлон смотрела на меня приветливо. Она все чаще стала заходить в мастерскую. Я был в восторге, когда убедился, что она меня любит. Как ни строго следил за нами отец, мы не раз украдкой жали друг другу руки в знак союза, который заключили между собою; Кардильяк как будто ничего не замечал. Я подумывал о том, чтобы посвататься к Мадлон, если мне удастся заслужить расположение отца и получить звание мастера. Однажды утром, — я только что собирался приняться за работу, — ко мне вдруг подошел Кардильяк, и в мрачных глазах его были гнев и презрение. «Твоя работа мне больше не нужна, — начал он, — сейчас же убирайся вон из моего дома и никогда не показывайся мне на глаза. Почему я больше не желаю терпеть тебя здесь, — объяснять незачем. Слишком высоко висит сладкий плод, к которому ты тянешься, нищий бродяга!» Я хотел что-то сказать, но он с силой схватил меня и вышвырнул за дверь; от толчка я упал и больно расшиб себе голову и руку. Возмущенный, терзаемый жестокой скорбью, я покинул дом Кардильяка и нашел приют у одного добросердечного знакомого на самой окраине Сен-Мартенского предместья; он предоставил мне свой чердак. Я не знал ни покоя, ни отдыха. По ночам я бродил вокруг дома Кардильяка в надежде, что Мадлон услышит мои вздохи, мои жалобы, что, может быть, она подойдет к окну и ей удастся что-нибудь сказать мне, пока никто за ней не следит. В голове у меня возникали всякие дерзкие планы, на исполнение которых я думал склонить Мадлон. К дому Кардильяка на улице Никез примыкает высокая стена с нишами, где стоят старые, обветшавшие статуи. Однажды ночью стою я возле одной из этих статуй и смотрю на окна дома, что выходят во двор, который замыкается этой стеною. Тут я вдруг замечаю свет в мастерской Кардильяка. Уже полночь, прежде Кардильяк никогда не бодрствовал в такое время: он всегда отходил ко сну, как только часы пробьют девять. Сердце у меня так и стучит, полное боязливой предчувствия, я думаю, что вот произойдет какое-то событие и, может быть, мне удастся проникнуть в дом. Но свет сразу же гаснет. Я прижимаюсь к статуе, забираюсь в самую нишу, но вдруг отскакиваю от стены с ужасом, — чувствую, как что-то меня толкает, словно статуя ожила. В ночной темноте я замечаю, что камень медленно поворачивается, из отверстия в стене, крадучись, выбирается какая-то темная фигура и тихими шагами направляется вдоль по улице. Я бросаюсь к статуе, — она, как и до этого, стоит у самой стены, плотно прижатая к ней. Словно движимый какой-то внутренней силой, а не по своей воле, я крадусь за незнакомцем. Едва дойдя до статуи богоматери, он оборачивается, и яркий свет лампы ударяет ему прямо в лицо. Это — Кардильяк! Мною овладевают непонятный страх, зловещий трепет. Как замороженный, иду я дальше вслед за этим лунатиком, за этим призраком. Именно за лунатика я и счел хозяина, хотя было вовсе не полнолуние, когда спящие не могут противиться наваждению. Наконец Кардильяк исчезает куда-то в сторону, в тень. Но по тихому, правда, хорошо мне знакомому покашливанию я замечаю, что он спрятался в ворота одного из домов. «Что бы это значило, что он собирается тут делать?» — спрашиваю я себя в изумлении и плотно прижимаюсь к стене. Ждать пришлось недолго — вот, что-то напевая, звеня шпорами, прошел какой-то человек с ярким султаном на шляпе. Как тигр, завидевший добычу, Кардильяк бросился из своей засады на этого человека, который в ту же минуту, хрипя, упал на землю. Я в ужасе кричу, подбегаю, Кардильяк наклонился над телом. «Метр Кардильяк, что вы делаете?» — громко кричу я ему. «Будь ты проклят!» — проревел Кардильяк, с быстротою молнии пронесся мимо меня и исчез. Пораженный, с трудом передвигая ноги, я подхожу к человеку, поверженному наземь, становлюсь подле него на колени, — может быть, — думаю, его еще удастся спасти, но признаков жизни уже нет. В смертельном страхе я даже не заметил, как меня окружила стража. «Опять эти дьяволы убили человека... Эй, ты... молодой человек, ты что тут делаешь?.. Не из их ли ты шайки?.. Взять

его!» Так они кричали, перебивая друг друга, и схватили меня. Я, запинаясь, едва мог пробормотать, что никогда не мог бы совершить такое страшное злодеяние, и попросил, чтобы они с миром отпустили меня. Тогда один из сыщиков осветил мне лицо фонарем и рассмеялся: «Да это же Оливье Брюссон, подмастерье, что работает у нашего доброго метра Рене Кардильяка!.. Да... уж он-то не станет убивать людей на улице!.. Похоже на то... Да и не в обычае у этих убийц причитать над трупом, чтобы их легче было словить. Ну, так как же это было? Рассказывай, парень, не бойся». — «Совсем близко от меня, — сказал к, — на этого человека напал другой, ранил его, повалил, а когда я громко закричал, со всех ног бросился прочь. Я хотел взглянуть, можно ли еще спасти раненого». — «Нет, сын мой, — восклицает один из тех, кто поднял тело, — он мертв, удар, как всегда, пришелся в самое сердце». — «Ах, дьявол! — говорит другой, — как и третьего дня, мы опять опоздали». И они ушли, унося труп.

Что я чувствовал, этого и не выразить; я ощупывал себя — уж не снится ли мне злой сон; мне казалось, что вот сейчас я проснусь и буду дивиться этому нелепому видению. Кардильяк, отец моей Мадлон, гнусный убийца! Обессилев, я опустился на каменные ступени какого-то подъезда. Приближалось утро, делалось все светлее, передо мною на мостовой лежала офицерская шляпа, украшенная пышными перьями. Кровавое преступление Кардильяка, совершившееся на том самом месте, где я сидел, встало перед моими глазами. Я в ужасе поспешил прочь.

В страшном смятении, чуть не обезумев, сижу я у себя на чердаке, вдруг дверь открывается и входит Рене Кардильяк. «О боже мой! что вам надо?» — кричу я ему. Он, не обращая внимания на мой возглас, подходит ко мне и улыбается с ласковым спокойствием, которое вызывает во мне еще более сильное отвращение. Он придвигает старую поломанную скамейку и садится ко мне, а у меня даже нет сил подняться с моего соломенного ложа. «Ну, Оливье, — начинает он, — как тебе живется, бедняга? Я, право, больно поторопился, когда прогнал тебя, а мне на каждом шагу тебя недостает. Как раз теперь мне предстоит работа, которую без твоей помощи я не смогу окончить. Что, если бы ты вернулся ко мне в мастерскую? Молчишь? Да, я знаю, я тебя оскорбил. Не стану скрывать, — рассердили меня твои шашни с Мадлон. Но потом я все как следует обдумал и нашел, что при твоём искусстве, усердии и верности мне лучшего зятя незачем и желать. Иди-ка ты со мною и попробуй, может, и возьмешь Мадлон в жены».

Слова Кардильяка пронзили мне сердце, его коварство ужаснуло меня, я не мог вымолвить ни слова. «Ты колеблешься, — продолжал он тоном более резким, пронизывая меня взглядом сверкающих глаз, — ты еще колеблешься? Чего доброго, ты сегодня еще не можешь прийти ко мне, у тебя другие дела? Ты, может быть, собираешься навестить Дегре или представиться д'Аржансону и Ла-Рени? Берегись, парень, как бы не упасть тебе в яму, которую ты роешь другому, как бы не переломать тебе кости!» Тут я уж не мог сдержать свое глубокое возмущение. «Пусть тех, — воскликнул я, — у кого на совести гнусные злодеяния, пугают имена, которые вы только что произнесли, мне же они не страшны, мне до них и дела нет!» — «В сущности, — продолжал Кардильяк, — в сущности, Оливье, это только будет служить к твоей чести, если ты снова станешь работать у меня, самого знаменитого мастера в наши дни, которого все уважают за его честность, за верность своему слову: ведь даже и клевета его не коснется, а упадет на голову самого клеветника. Что до Мадлон, то должен тебе признаться — моей уступчивостью ты обязан только ей. Она любит тебя с такою страстью, какой я и предполагать не мог в этом слабом ребенке. Едва ты ушел, она упала к моим ногам, обняла мои колени и, обливаясь слезами, призналась, что не может жить без тебя. Я подумал, что ей так только кажется: все эти влюбленные девочки сразу же готовы умереть, едва только на них ласково посмотрит какой-нибудь смазливый паренек. Но моя Мадлон и в самом деле стала чахнуть и хиреть, а когда я пытался ее уговорить, чтоб она выкинула из головы этот вздор, она в ответ лишь без конца повторяла твое имя. Что мне оставалось делать! Ведь я же не хочу погубить ее. Вчера вечером я ей сказал, что согласен на все и нынче же приведу тебя. За одну ночь она расцвела как роза и ждет твоего прихода, себя не помня от любви». Небо да

простит меня, но я и сам не знаю, как это я вдруг снова очутился в доме Кардильяка, а Мадлон радостно закричала: «Оливье, мой Оливье, возлюбленный мой, жених мой!» — бросилась ко мне, обвила меня руками, крепко прижала к груди, и я, в беспредельной, восторженной радости, поклялся девой и всеми святыми, что никогда, никогда не расстанусь с ней!»

Потрясенный воспоминаниями об этой минуте, решившей его судьбу, Оливье опять должен был прервать свой рассказ. Слюдери, сраженная тем, что она узнала о злодеяниях человека, в котором она раньше видела олицетворение добродетели и честности, воскликнула:

— Какой ужас! Рене Кардильяк принадлежал к шайке убийц, превративших наш добрый Париж в разбойничий вертеп!

— Да что это вы, сударыня, — молвил Оливье, — говорите о шайке убийц? Никогда и не было такой шайки. Кардильяк один, не зная устали, искал себе жертв по всему городу и находил их. Уверенность, с которой он наносил свои удары, полная невозможность напасть на след убийцы — все это объясняется тем, что он был один. Но позвольте мне продолжить мой рассказ, он откроет вам тайну преступнейшего и вместе с тем несчастнейшего из людей. В каком положении я оказался, вернувшись к моему хозяину, всякий может себе представить. Шаг был сделан, отступить я уже не мог. Иногда мне казалось, будто я стал пособником Кардильяка в его злодеяниях, и только любовь Мадлон помогала мне забыть терзавшую меня муку, и лишь подле нее мне удавалось побороть невыразимую тоску. Когда я работал со стариком в мастерской, у меня не хватало духу взглянуть ему в лицо, я не мог обменяться с ним словом, — такой ужас охватывал меня вблизи этого страшного человека, который днем добродетельно исполнял все обязанности нежного, любящего отца, честного горожанина, а под покровом ночи совершал свои злодеяния. Мадлон, это кроткое, ангельски чистое дитя, боготворила его. Сердце у меня разрывалось при мысли о том, что, если когда-нибудь тайного злодея постигнет кара, отчаянью Мадлон, введенной в обман сатанинским коварством отца, не будет границ. Вот что сковывало мои уста, хотя мне это и грозило позорной смертью — смертью преступника. Несмотря на то что из слов стражников я кое-что понял, все же злодеяния Кардильяка, их причина, способ, к которому он прибегал, оставались для меня загадкой; разгадки, впрочем, недолго пришлось ждать. Кардильяк во время работы обычно бывал в самом веселом расположении духа, шутил и смеялся, что возбуждало во мне одно отвращение, но как-то раз он показался мне озабоченным и задумчивым. Он вдруг отбросил вещь, которую отделявал, так что драгоценные камни и жемчужины посыпались в разные стороны, порывистым движением поднялся с места и сказал: «Оливье! так между нами продолжаться не может, такое положение невыносимо. Случай открыл тебе то, чего не могли разоблачить Дегре и его товарищи, несмотря на все их тончайшие ухищрения. Ты видел меня за ночной работой, к которой влечет меня моя злая звезда, сопротивляться же ей я не в силах. А твоя злая звезда повлекла тебя вслед за мною, набросила на тебя непроницаемый покров, придала такую легкость твоей походке, что ты крался бесшумно, словно какой-нибудь маленький зверек, и я тебя не — заметил, хотя вижу не хуже тигра в самом глубоком мраке и с другого конца улицы слышу малейший шорох, даже жужжанье комара. Твоя злая звезда привела тебя ко мне, сделала моим сообщником. О том, чтобы предать меня, ты теперь и думать не смеешь. Поэтому узнай все». — «Никогда не стану я твоим сообщником, лицемерный злодей!» — вот что хотел я прокричать ему, но ужас, которым наполнили меня слова Кардильяка, сдавил мне горло. Вместо слов с моих губ сорвался какой-то нечленораздельный звук. Кардильяк снова сел на свое место. Он вытер капли пота, выступившие на лбу. Подавленный тяжестью воспоминаний, он, кажется, лишь с трудом овладел собою. Наконец он начал: «Мудрые люди много толкуют о прихотях и странной восприимчивости беременных женщин и о том, какое удивительно сильное влияние на ребенка могут иметь всякие впечатления, невольно и неосознанно полученные извне. Про мою мать мне рассказывали поразительную историю. Когда она еще первый месяц была беременна мною, ей вместе с другими женщинами случилось видеть в Трианоне блистательный придворный праздник. Взгляд ее упал на кавалера в испанском наряде с блестящей, усеянной драгоценными камнями цепью на шее, и вот она уже не могла отвести от

нее глаз. Все ее существо жадно тянулось к этим сверкающим камням, которые казались ей каким-то неземным даром. За несколько лет перед тем, когда моя мать не была еще замужем, этот же самый кавалер покушался на ее добродетель, но тогда она с отвращением его отвергла. Моя мать узнала его, но теперь, озаренный блеском бриллиантов, он показался ей каким-то высшим существом, воплощением красоты. Кавалер заметил жгучие, полные желания взгляды моей матери. Он подумал, что на этот раз будет счастливее. Ему удалось приблизиться к ней, даже разлучить ее со знакомыми, с которыми она была и увлечь за собой в уединенное место. Там он, полный страсти, заключил ее в объятия, мать схватилась за его великолепную цепь, но в тот же миг он пошатнулся и увлек ее в своем падении. Случился ли с ним удар или была тут другая причина, но он упал мертвый. Тщетно пыталась моя мать вырваться из окостеневших рук покойника. Устремив на мою мать свои впалые угасшие глаза, мертвец не давал ей подняться с земли. Люди, проходившие поодаль, услышали ее пронзительный крик о помощи, поспешили на зов и освободили ее из объятий страшного любовника. От пережитого испуга моя мать тяжело заболела. И ее и меня уже считали погибшими, но все же она выздоровела, и роды прошли благополучнее, чем того можно было ожидать. Однако страх, пережитый ею в ту ужасную минуту, наложил отпечаток на меня. Взошла моя злая звезда и заронила в меня искру, от которой разгорелась поразительнейшая и пагубнейшая из страстей. Уже в раннем детстве я больше всего любил блеск бриллиантов, золотые украшения. В этом видели обыкновенную детскую причуду. Но оказалось, что это не так: уже отроком я крал золото и бриллианты, где только находил. Я, как искуснейший знаток, чутьем отличал драгоценности поддельные от настоящих. Только настоящие и манили меня, а на золото поддельное и золотые монеты я даже не обращал внимания. Врожденную страсть не могли подавить самые суровые наказания, которым меня подвергал отец. Ремесло ювелира я избрал только для того, чтобы иметь дело с золотом и драгоценными камнями. Я с увлечением отдался работе и вскоре стал первым мастером своего дела, и вот в жизни моей наступила пора, когда подавляемая так долго врожденная страсть властно дала о себе знать и стала расти, поглощая все остальное. Когда я оканчивал работу и отдавал заказчику драгоценный убор, мной овладевала тревога, безнадежность, лишавшая меня сна, здоровья, бодрости. Человек, для которого я потрудился, день и ночь, точно призрак, стоял перед моими глазами, украшенный моим убором, и некий голос шептал мне: „Ведь это же твое... твое... возьми это... на что мертвецу бриллианты?“ И тогда я наконец стал воровать. Я имел доступ в знатные дома и умел быстро воспользоваться всяким удобным случаем, против моей ловкости не мог устоять ни один замок, и вскоре вещь, сработанная мной, снова оказывалась в моих руках. Но даже и это не успокаивало меня. Мне все-таки слышался тот зловеющий голос, он насмехался надо мной, кричал мне: „Хо! хо! твой убор носит мертвец“. Я и сам не знаю, отчего я чувствовал такую неутолимую ненависть к тем, для кого трудился. Да! в глубине души просыпалась жажда крови, повергавшая в трепет меня самого. В то время я купил этот дом. Мы уже столковались с его прежним владельцем и сидели вот в этой комнате за бутылкой вина, оба довольные сделкой. Наступила ночь, я было собрался уже идти, вдруг хозяин мне говорит: „Слушайте, метр Рене, пока вы не ушли, я должен познакомить вас с секретом моего дома“. И он отпер этот стеной шкаф, раздвинул его заднюю стенку, вошел в какую-то маленькую комнату, нагнулся, поднял спускную дверь. Мы сошли по узкой и крутой лестнице, он отворил узенькую дверцу, и мы оказались во дворе. Тут старик, владелец дома, подошел к ограде, притронулся к куску железа, несколько выступавшему вперед, и сразу же часть стены повернулась так, что в образовавшееся отверстие человек легко мог проскользнуть на улицу. Я как-нибудь покажу тебе, Оливье, эту штуку, которую, наверно, когда еще здесь был монастырь, придумали хитрые монахи, чтобы иметь тайную лазейку. Эта часть ограды — деревянная, и только снаружи она оштукатурена и выкрашена, совсем точно каменная, снаружи здесь стоит статуя тоже из дерева, но похожая на каменную, и все это поворачивается на потайных петлях. Во мне пробудились темные мысли, когда я увидел это устройство; мне показалось, будто уже положено начало всему тому, что еще и для меня самого было покрыто тайной. Я только что перед этим вручил одному придворному

драгоценный убор, который, как мне было известно, предназначался в подарок танцовщице. И тут началась пытка, — призрак по пятам следовал за мною, сатана шептал мне что-то на ухо. Я переехал в купленный дом. Обливаясь кровавым потом от страха, я ворочаюсь в постели с боку на бок и не могу уснуть. Я мысленно вижу, как этот человек крадетсЯ с моим убором к танцовщице, вскакиваю в ярости, накидываю плащ, спускаюсь по потайной лестнице, сквозь стену попадаю на улицу Никез. Он появляется, я на него набрасываюсь, он вскрикивает, но, крепко схватив его сзади, я вонзаю ему в сердце кинжал... убор в моих руках. Сделав это, я почувствовал в душе такое успокоение, такое удовлетворение, какого никогда еще не испытывал в жизни. Наваждение рассеялось, голос сатаны умолк. Тут мне стало ясно, чего требует моя злая звезда, я должен был покориться ей или погибнуть. Теперь тебе понятны мои поступки! Не думай, Оливье, что я, делая то, чему я не могу противиться, совершенно потерял чувство жалости и сострадания, присущее всякому человеку. Ты знаешь, как мне бывает тяжело отдавать работу заказчику, ты знаешь, что я вовсе не берусь работать для тех, чья смерти не желаю, и даже иногда, если я уверен, что завтра прольется кровь, от которой наваждение рассеется, я сегодня же здоровым ударом кулака сваливаю с ног владельца моей вещи, и она снова попадает ко мне». Рассказав все это, Кардильяк повел меня в потайную комнату в подвале и показал мне свое собрание драгоценностей. Собрания более богатого нет, должно быть, и у короля. К каждой вещи прикреплен ярлычок, на котором точно указывается, для кого сделана вещь и как добыл ее вновь Кардильяк — путем ли воровства, грабежа или убийства. «В день твоей свадьбы, — глухо и торжественно сказал Кардильяк, — в день твоей свадьбы, Оливье, ты, положи руку на распятие, дашь мне священную клятву, что после моей смерти превратишь в прах все эти сокровища — способом, который я тебе укажу. Я не хочу, чтобы кому-нибудь на свете, а уж менее всего — Мадлон и тебе, достались сокровища, купленные ценою крови». Заблудившись в лабиринте преступлений, терзаемый любовью и отвращением, блаженством и ужасом, я был словно грешник, которого ангел с нежной улыбкой манит ввысь, но сатана впился в него раскаленными когтями, и вот улыбка доброго ангела, отражающая все блаженство далеких небес, становится для него горчайшей из мук. Я уже думал о бегстве... даже о самоубийстве... Но Мадлон! Вините, вините меня, сударыня, что я был слишком слаб и не мог побороть страсть, приковавшую меня к цепи преступлений; но разве я за это не заплачу позорной смертью? Однажды Кардильяк вернулся домой необычайно веселый. Он приласкал Мадлон, очень приветливо смотрел на меня, выпил за столом бутылку доброго вина, что он дельвал обычно только по большим праздникам, в дни каких-нибудь торжеств, пел, чему-то радовался. Мадлон оставила нас одних, и я уже хотел идти в мастерскую, но Кардильяк сказал: «Посиди со мной, друг, сегодня больше не будем работать; давай-ка еще выпьем за здоровье самой почтенной, самой достойной женщины в Париже». Мы с ним чокнулись, и, осушив полный стакан, он проговорил: «Скажи-ка, Оливье, как тебе нравятся эти стихи:

Un amant qui craint ies voleurs
N'est point digne d'amour?»

* * *

И он рассказал, что произошло между вами и королем в покоях Ментенон, и прибавил, что издавна уже уважает вас так, как ни одного человека на земле, и что вы, обладая столь высокой добродетелью, перед которой бессильно померкла бы его злая звезда, могли бы носить прекраснейший убор его работы и никогда не возбудили бы в нем ни злых дум, ни кровавых замыслов. «Слушай, Оливье, — сказал он, — слушай, что я решил. Давно уже мне было заказано сделать из собственных моих камней ожерелье и браслеты для Генриетты Английской. Ни одна работа до сих пор не удавалась мне так, как эта, но сердце разрывалось у меня в груди, когда я думал о том, что мне придется расстаться с этой вещью, ставшей моей

любимой драгоценностью. Ты знаешь, что несчастная принцесса была вероломно погублена. Я сохранил этот убор и хочу в знак моего уважения и благодарности послать его мадемуазель де Скюдери от имени преследуемой шайки. Мало того что Скюдери получит красноречивое доказательство своего торжества, я, кроме того, посмеюсь над Дегре и его товарищами, как они того заслуживают. Ты отнесешь ей убор». Как только Кардильяк произнес ваше имя, сударыня, с глаз моих словно спала черная пелена, и прекрасные, светлые картины счастливого, далекого детства снова встали передо мной во всем своем блеске. Я почувствовал удивительное облегчение, в мою душу проник луч надежды, от которого рассеялось мрачное наваждение. Кардильяк, по-видимому, заметил, какое впечатление произвели на меня его слова, и истолковал это по-своему. «Моя мысль, — сказал он, — моя мысль тебе как будто по душе. Признаюсь, что какой-то внутренний голос, совсем не похожий на тот, который, словно жадный хищный зверь, требует от меня кровавых жертв, повелел мне сделать это. Со мной иногда творится что-то странное, и тогда непобедимая тревога, страх перед чем-то ужасным, перед далеким, потусторонним миром охватывает меня и держит словно в тисках. В эти минуты у меня такое чувство, будто все то, что велела мне совершить злая звезда, ляжет бременем на мою бессмертную душу, хоть она ни в чем и не повинна. В таком состоянии духа я однажды решил сделать прекрасный бриллиантовый венец для статуи богоматери, что в церкви святого Евстахия. Но всякий раз, как я принимался за работу, этот непостижимый страх еще сильнее овладевал мною, и я совсем отказался от своей мысли. Теперь мне кажется, что, подарив Скюдери прекраснейший из уборов, когда-либо сделанных мною, я смиренно принесу жертву самой добродетели и кротости и найду себе верную заступницу». Кардильяк, которому в точности был известен ваш образ жизни, сударыня, указал мне, как и в котором часу я должен передать вам убор, положенный им в изящный ящичек. Я был в совершенном восхищении, — через преступного Кардильяка само небо указывало мне путь к спасению из этого ада, в котором я томился, отверженец и грешник... Так я думал. Против воли Кардильяка я хотел увидеть лично вас самих. Как сын Анны Брюссон, как ваш питомец, я хотел броситься к вашим ногам и во всем... во всем открыться вам. Вы не остались бы равнодушны к тому несказанному горю, которое грозит бедной невинной Мадлон, если откроется тайна Кардильяка, и, конечно, ваш высокий и острый ум нашел бы верное средство положить предел его мерзким злодеяниям, даже не разглашая этой тайны. Не спрашивайте меня, что это за средство, я и сам не знаю... но что вы спасете Мадлон и меня — в это я верил так же твердо, как верю в помощь пресвятой девы-утешительницы. Вы знаете, сударыня, что моя попытка в ту ночь не удалась. Я не терял надежды, что в другой раз буду счастливее. Но Кардильяк вдруг потерял всю прежнюю веселость. Он бродил мрачный, неподвижно смотрел вперед, бормотал непонятные слова, размахивал руками, словно обороняясь от врага, и ум его, казалось, терзали злые мысли. Так однажды прошло целое утро. Наконец он сел за работу, с досадой тотчас же вскочил, поглядел в окно и промолвил озабоченно и угрюмо: «Пусть бы мой убор носила Генриетта Английская!» Слова эти ужаснули меня. Я теперь знал, что его больной ум снова во власти жуткого кровавого наваждения, что ему снова слышится голос сатаны. Я знал, что вам грозит смерть от руки проклятого убийцы, а возвращение убора в руки Кардильяка может вас спасти. С каждым мигмом опасность возрастала. Тут я встретился с вами на Новом мосту, протолкался до вашей кареты и бросил вам записку, которой заклинал тотчас же вернуть Кардильяку полученный от него убор. Вы не приехали, на другой день моя тревога перешла в отчаяние: Кардильяк только и говорил о драгоценном уборе, что снился ему ночью... Слова его могли относиться только к вашему убору, и я был уверен, что он уже обдумывает свой кровавый замысел, который, быть может, решил осуществить в ближайшую же ночь. Я должен был спасти вас, хотя бы ценою жизни Кардильяка. Как только он после вечерней молитвы заперся, по обыкновению, у себя в комнате, я через окно спустился во двор, проскользнул в лазейку и спрятался неподалеку от нее в глубокую тень. Немного времени спустя вышел и Кардильяк и, крадучись, пошел вдоль улицы. Я — за ним. Он направился на улицу Сент-Оноре, сердце у меня затрепетало. Вдруг я потерял Кардильяка из виду. Я решил, что пойду и стану у двери вашего дома. Но вот, совсем как в тот раз, когда случай сделал меня

свидетелем злодеяния, мимо меня проходит, что-то напевая и не замечая меня, какой-то офицер. В тот же миг выскакивает черная фигура и бросается на него. Это Кардильяк. Я хочу помешать убийству, громко кричу и в два-три прыжка настигаю их. Но не офицер, а Кардильяк лежит на земле и хрипит, насмерть раненный. Офицер бросает кинжал, выхватывает шпагу из ножен и, думая, что я — сообщник убийцы, готовится защищаться, но, увидев, что мне до него нет дела и что я наклонился над трупом, спешит уйти. Кардильяк был еще жив. Спрятав кинжал, брошенный офицером, я взвалил Кардильяка себе на плечи, с трудом дотащил его до дому и пронес потайным ходом в мастерскую. Остальное вам известно. Вы видите, сударыня, все мое преступление — в том, что я не предал суду отца Мадлон и не положил конца его злодеяниям. Сам я неповинен в этой крови. Никакая пытка не исторгнет у меня тайну Кардильяковых преступлений. Я не хочу, чтобы наперекор провидению, скрывшему от невинной дочери кровавые дела ее отца, на нее со смертельной силой обрушился весь ужас прошлого, все, что окружало ее жизнь, не хочу, чтобы людская месть вырвала труп из земли, скрывшей его, чтобы рука палача предала поруганию гниющие кости. Нет!.. Пусть любимая оплачет меня, как невинную жертву, время смягчит ее горе, а мысль о дьявольских злодеяниях любимого отца никогда бы не изгладилась в ее душе.

Оливье замолчал, но слезы вдруг потоком полились из его глаз, он упал к ногам Скюдери и стал молить ее:

— Ведь вы уверены, что я невинен... О да, уверены! Сжальтесь же надо мною, скажите, что с Мадлон?

Скюдери крикнула Мартиньер, и через несколько секунд Мадлон уже бросилась в объятия Оливье.

— Теперь все хорошо, ведь ты здесь — я же знала, что эта благороднейшая женщина тебя спасет! — так восклицала Мадлон, и Оливье забыл о своей участи, обо всем, что ему грозило, он был счастлив и свободен. Оливье и Мадлон трогательно жаловались друг другу, сколько им пришлось перенести, и снова обнимались и плакали от восторга, что свиделись вновь.

Если бы Скюдери уже не была убеждена в невинности Оливье, то она поверила бы в нее теперь, глядя на них обоих в эту минуту, когда они в упоении любви забыли о своем несчастье, о своих несказанных страданиях, обо всем на свете. «Нет, — воскликнула она, — только чистым сердцам дано так блаженно забываться!»

Яркие утренние лучи проникли в окна. Дегре тихо постучал в дверь и напомнил, что пора Оливье Брюссону возвращаться в тюрьму: позднее уже не удастся провести его незаметно по улицам. Влюбленным пришлось расстаться.

Мрачные предчувствия, овладевшие душою Скюдери уже после первого появления Брюссона в ее доме, претворились теперь в страшную действительность. Она увидела сына своей милой Анны безвинно запутавшимся в таких сетях, что спасти его от позорной казни, казалось, было почти невозможно. Она преклонялась перед высоким мужеством юноши, который скорее готов был погибнуть позорной смертью, чем выдать тайну, которая убила бы его Мадлон. Мысленно перебирая все возможные пути, она не видела средства вырвать несчастного из рук жестоких судей. И все-таки в душе она твердо решила, что не отступит ни перед какой жертвой, лишь бы предотвратить вопиющую несправедливость, уже готовую совершиться. Она хваталась за различные планы, один другого фантастичнее, но отбрасывала их так же быстро, как и создавала. Все бледнее и бледнее становился луч надежды, и она уже близка была к отчаянию. Но детски кроткое доверие к ней Мадлон, светлый восторг, с которым она говорила о возлюбленном, о том, как вскоре его совершенно оправдают и как он обнимет ее, свою жену, до глубины души трогали Скюдери и придавали ей новые силы.

Только для того, чтобы не сидеть сложа руки, Скюдери написала Ла-Рени длинное письмо; она в нем говорила, что Оливье Брюссон достовернейшим образом доказал ей свою невинность и что только твердая решимость унести с собой в могилу тайну, которая могла бы стать гибельной для невинного и добродетельного существа, не позволяет ему сделать суду признание, хотя оно сняло бы с него ужасное подозрение не только в убийстве Кардильяка, но

и в принадлежности к шайке гнусных убийц. Все пламенное рвение и мудрое красноречие было пущено в ход в этом письме, лишь бы смягчить суровое сердце Ла-Рени. Через несколько часов Ла-Рени прислал ей ответ: его сердечно радовало то, что Оливье Брюссон совершенно оправдался в глазах своей высокой и достопочтенной покровительницы. Что же касалось мужественной решимости унести с собой в могилу тайну, относящуюся к обстоятельствам дела, то он сожалеет, но *chambre ardente* не может одобрить подобную решимость, а, напротив, вынуждена будет прибегнуть к самым сильным средствам, лишь бы ее сломить. Он выражал надежду, что через три дня овладеет необыкновенной тайной, которая объяснит все случившиеся чудеса.

Скюдери слишком хорошо было известно, что Ла-Рени разумеет под теми средствами, которые должны сломить решимость Оливье. Несчастный несомненно был обречен на пытку. Скюдери, охваченной смертельным страхом, пришло наконец в голову, что прежде всего надо было бы добиться хоть отсрочки, и тут мог бы пригодиться совет человека, сведущего в законах.

В то время самым знаменитым адвокатом в Париже был Пьер Арно д'Андильты. С его познаниями, его обширным умом могли сравниться лишь его честность, его добросовестность. Скюдери отправилась к нему и рассказала ему все, насколько это было возможно, не нарушая тайны Брюссона. Она думала, что д'Андильты примет живое участие в судьбе невинного, но горько обманулась в своей надежде. Д'Андильты спокойно все выслушал и, улыбаясь, отвечал стихом Буало: «*Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable*»⁴. Он объяснил Скюдери, что против Брюссона свидетельствуют слишком явные улики, что Ла-Рени нельзя обвинить ни в жестокости, ни в поспешности, что, напротив, он поступал в полном соответствии с законом, что он даже не мог бы действовать иначе, выполняя обязанности судьи. Д'Андильты сказал, что и он, как бы искусно ни защищал Брюссона, не мог бы спасти его от пытки. Только сам Брюссон в состоянии добиться этого, если он чистосердечно признается или же по крайней мере точнейшим образом расскажет об обстоятельствах смерти Кардильяка: может быть, это откроет путь для нового расследования.

— Так я брошусь к ногам короля и буду молить о помиловании! — вне себя воскликнула Скюдери, которую душили слезы.

— Бога ради, — воскликнул д'Андильты, — бога ради, не делайте этого, сударыня! Не прибегайте пока что к этому последнему средству, ведь если оно вам не поможет сейчас, вы никогда больше не сможете к нему обратиться. Король ни за что не помилует такого преступника, иначе он заслужит самые горькие упреки от недовольного народа, натерпевшегося страхов. Может быть, сам Брюссон откроет свою тайну или найдет какое-нибудь иное средство, чтобы опровергнуть павшее на него подозрение. Тогда будет время просить короля о помиловании; он не станет доискиваться, что доказано и что не доказано перед судом, и послушается только своего внутреннего убеждения.

Скюдери поневоле пришлось согласиться с многоопытным д'Андильты. Глубоко опечаленная, все время думая о том, что бы ей еще предпринять для спасения несчастного Брюссона, она поздним вечером сидела у себя в комнате, как вдруг вошла Мартиньер и доложила, что граф Миоссан, полковник королевской гвардии, непременно желает говорить с мадемуазель де Скюдери.

— Простите, сударыня, — молвил Миоссан, поклонившись с военной учтивостью, — простите, что я вас беспокою в такой поздний и неурочный час. Но нам, солдатам, к этому не привыкать, в оправдание же себе скажу лишь два слова. Я пришел к вам ради Оливье Брюссона.

Скюдери, с нетерпением ожидавшая, что еще он скажет, громко воскликнула:

— Оливье Брюссона? Этого несчастнейшего среди людей? Что вы знаете о нем?

— Я так и думал, — улыбаясь, продолжал Миоссан, — что достаточно будет произнести

⁴ Правда иногда может быть неправдоподобной (франц.).

это имя — и вы благосклонно выслушаете меня. Все убеждены в виновности Брюссона. Мне известно, что вы держитесь другого мнения, которое, правда, как говорят, основано лишь на уверениях самого обвиняемого. Со мною дело обстоит иначе. Никто лучше меня не знает, что Брюссон невиновен в смерти Кардильяка.

— О, говорите, говорите! — воскликнула Скюдери, и глаза ее заблестали от радости.

— Это я, — твердо сказал Миоссан, — это я убил старого ювелира на улице Сент-Оноре, недалеко от вашего дома.

— Вы! О боже! Вы! — воскликнула Скюдери.

— Клянусь вам, сударыня, — продолжал Миоссан, — я горжусь моим поступком. Знайте, что Кардильяк был гнуснейший и лицемернейший из злодеев, это он подло грабил и убивал по ночам людей и долго ускользал от преследования. Сам не знаю почему, у меня в душе зародилось смутное подозрение, когда я увидел, как волновался старый злодей, отдавая мне заказанную вещь, когда он стал подробно расспрашивать, кому предназначается убор, и очень хитро выведал у моего камердинера, в какое время я обычно посещаю некую даму. Я уже давно обратил внимание на то, что несчастные жертвы подлого грабителя погибали все от одинаковой раны. Я был уверен, что убийца уже привык наносить удар, от которого они мгновенно умирали, и на этом я построил свой расчет. Стоило ему промахнуться, и борьба уже была бы равной. Это заставило меня принять меру предосторожности, настолько простую, что я даже не понимаю, как это другие раньше не прибегли к ней и таким образом не спасли себя от руки страшного убийцы. Я надел под камзол легкую кольчугу. Кардильяк напал на меня сзади. Он обхватил меня со страшной силой; удар был точно рассчитан, но кинжал скользнул по стали. В тот же миг я высвободился и вонзил ему в грудь кинжал, который держал наготове.

— И вы молчали, — спросила Скюдери, — вы не объявили суду о том, что случилось?

— Позвольте мне заметить, сударыня, — продолжал Миоссан, — что подобное показание могло бы если не вовсе погубить меня, то запутать в гнуснейшее судебное дело. Разве Ла-Рени, которому всюду чудятся преступления, так прямо и поверил бы мне, если бы в покушении на убийство я обвинил честного Кардильяка, — ведь он считался образцом благочестия и добродетели? Что, если бы меч правосудия обратился острием против меня?

— Этого не могло бы быть, — воскликнула Скюдери, — ваше происхождение, ваше звание...

— О, — продолжал Миоссан, — вспомните маршала Люксембургского: ему вздумалось заказать Лесажу гороскоп, а его заподозрили как отравителя и посадили в Бастилию. Нет, клянусь святым Дионисием, ни одного часа моей свободы, ни одного волоска я не отдам неистовому Ла-Рени, который всем нам рад перерезать горло.

— Но так вы пошлете на эшафот невинного Брюссона? — перебила его Скюдери.

— Невинного? — переспросил Миоссан. — Невинным вы, сударыня, называете сообщника злодея Кардильяка, человека, который помогал ему в его преступлениях? Который сто раз заслуживает смерти? Нет, право же, казни он достоин, и если вам, сударыня, я открыл, как было все на самом деле, то я думал, что вы, не предавая меня в руки *chambre ardente*, так или иначе извлечете из моей тайны пользу для человека, которого вы взяли под защиту.

Скюдери, с восхищением видя, что ее уверенность в невинности Брюссона подтвердилась так бесспорно, не поколебалась все открыть графу, уже знавшему о преступлениях Кардильяка, и попросила его отправиться вместе с нею к д'Андильи. Она под секретом собиралась все сообщить ему, чтобы тот посоветовал, как теперь поступить.

Когда Скюдери чрезвычайно подробно рассказала обо всем д'Андильи, он стал еще расспрашивать о мельчайших обстоятельствах дела. В особенности он настаивал на вопросе, вполне ли граф Миоссан уверен в том, что напал на него Кардильяк, и сможет ли он в Оливье Брюссоне признать человека, унесшего труп.

— Я, — отвечал Миоссан, — прекрасно узнал ювелира в ярком лунном свете, но, кроме того, я еще видел у Ла-Рени тот самый кинжал, которым сразил Кардильяка. Это мой кинжал, он замечателен чрезвычайно изящной отделкой рукояти. А что до юноши, то я стоял от него в двух шагах и разглядел его лицо, тем более что у него шляпа свалилась с головы, и уж,

конечно, узнал бы его.

Д'Андильи несколько секунд помолчал, потупив взгляд, потом молвил:

— Нечего даже думать о том, чтобы обыкновенными путями вырвать Брюссона из рук правосудия. Он ради Мадлон не хочет объявить Кардильяка убийцей и грабителем. Пусть так и будет; ведь если бы ему даже и удалось доказать это, если бы он и сообщил судьям о существовании потайного хода, о награбленных сокровищах, все-таки ему грозила бы смерть как сообщнику. То же самое будет и в том случае, если граф Миоссан расскажет судьям, как в действительности произошло убийство ювелира. Отсрочка — вот единственное, к чему следует стремиться. Граф Миоссан отправляется в Консьержери, просит показать ему Брюссона, узнает в нем того, кто уносил труп Кардильяка. Потом он идет к Ла-Рени и говорит ему: «В улице Сент-Оноре на моих глазах убили человека, я стоял над трупом, как вдруг кто-то подбежал к нему, наклонился, увидел, что раненый еще жив, взвалил его себе на плечи и унес. В Оливье Брюссоне я узнал этого человека». Это показание послужит поводом к новому допросу Брюссона и к очной ставке его с графом Миоссаном. Словом, попытка отменяется, и продолжается розыск. Тогда наступит пора обратиться к самому королю. От вас, сударыня, от вашего острого ума будет зависеть удачный исход. По-моему, хорошо было бы открыть королю всю тайну. Показание графа Миоссана подтвердит слова Брюссона. К той же цели, быть может, приведет и тайный обыск в доме Кардильяка. Все это может повлиять не на приговор суда, но на решение короля, ибо оно будет опираться на чувство, которое требует пощады там, где судья обязан карать.

Граф Миоссан в точности последовал совету д'Андильи, и, действительно, все произошло так, как он предсказывал.

Теперь надо было просить короля, а это было самое трудное, ибо король, считая Брюссона виновником страшных кровавых разбоев, столь долго повергавших в ужас весь Париж, питал к нему такое отвращение, что малейшее напоминание о злополучном процессе приводило его в ярость. Ментенон, верная своему правилу — никогда не говорить с королем о вещах неприятных, не соглашалась быть посредницей, и, таким образом, судьба Брюссона оказалась всецело в руках Скюдери. После долгого раздумья она внезапно приняла решение, которое тотчас же и осуществила. Она оделась в черное, тяжелого шелка, платье, надела драгоценный убор — подарок Кардильяка, накинула длинную черную вуаль и в этом наряде явилась в покоях Ментенон как раз в такое время, когда там был король. Благородному облику почтенной дамы этот торжественный наряд придавал особую величественность, которая внушила глубокое почтение даже той пошлой и легкомысленной толпе, что топчется в дворцовых передних и надо всем и всеми насмехается. Все расступились перед нею, а когда она вошла к Ментенон, сам король, в изумлении, поднялся ей навстречу. Перед ним засверкали чудесные бриллианты, украшавшие ожерелье и браслеты, и он воскликнул:

— Бьюсь об заклад, что это работа Кардильяка! — А затем, обернувшись к Ментенон, он с любезной улыбкой прибавил: — Смотрите, маркиза, как наша прекрасная невеста горюет по своем женихе.

— Ах, ваше величество, — возразила Скюдери, как бы подхватывая шутку, — разве скорбной невесте подобает такой блестящий убор? Нет, я уж и думать оставила об этом ювелире и даже не вспомнила бы о нем, если бы порою перед моими глазами не возникала вновь отвратительная картина — его труп, который проносили мимо меня.

— Как, — спросил король, — как? Вы разве видели этого беднягу мертвым?

Скюдери коротко рассказала, как случай (она еще не хотела упоминать о Брюссоне) привел ее к дому Кардильяка в то самое время, когда только что было обнаружено убийство. Она описала дикое отчаяние Мадлон, глубокое впечатление, которое произвел на нее этот ангел, рассказала, как ей удалось вырвать несчастную из рук Дегре и какой восторг проявила по этому поводу толпа. Все более красноречиво она изображала сцены с Ла-Рени, с Дегре, с самим Оливье Брюссоном. Король, увлеченный живым, пламенным рассказом Скюдери, уже не замечал, что речь пошла о деле Брюссона, возбуждавшего его омерзение, он слушал, боясь упустить хотя бы одно слово, и только время от времени у него вырывался какой-нибудь

возглас, свидетельствовавший о его волнении. Не успел он опомниться, совершенно потрясенный этими неслыханными новостями, и не успел привести в порядок свои мысли, как Скюдери уже лежала у его ног и молила о пощаде для Оливье Брюссона.

— Что вы, сударыня? — воскликнул король, взяв ее за обе руки и заставив сесть. — Что вы? Вы чрезвычайно потрясли меня! Это же страшная история! Но кто поручится, что фантастический рассказ Брюссона правда?

А Скюдери в ответ:

— Граф Миоссан... обыск в доме Кардильяка... внутреннее убеждение... ах! И добродетельное сердце Мадлон, которое в несчастном Брюссоне встретило ту же добродетель!

Короля, который собирался что-то сказать, отвлек шум у двери. Сюда с озабоченным видом заглянул Лувуа, занимавшийся в соседней комнате. Король встал и последовал за ним. И Скюдери и Ментенон увидели в этом опасность, ибо король, раз застигнутый врасплох, теперь стал бы уже остерегаться, как бы и во второй раз не попасться в расставленные сети. Но он очень скоро вернулся, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем, заложив руки за спину, остановился перед Скюдери и тихо сказал, не глядя на нее:

— Мне бы хотелось видеть вашу Мадлон!

А Скюдери на это:

— Ах, ваше величество! какой высокой... высокой чести вы удостоите бедное, несчастное дитя!.. Ах, я ждала только вашего слова, малютка сейчас будет у ваших ног.

И так быстро, как только позволяло ее тяжелое платье, она засеменила к дверям и крикнула, что король велит позвать Мадлон Кардильяк, потом вернулась на свое место и зарыдала от радости и от умиления. Скюдери предчувствовала такую милость и поэтому взяла с собою Мадлон, которая теперь ждала в комнате камеристки маркизы де Ментенон, держа наготове короткое прошение, написанное самим д'Андильти. Через какую-нибудь минуту она уже лежала у ног короля, не в состоянии сказать и слова. Страх, смятение, благоговейная робость, любовь и печаль волновали ее кипевшую кровь, которая все быстрее и быстрее бежала по жилам. Щеки Мадлон горели ярким румянцем, на глазах блистали прозрачные жемчужины слез, которые одна за другой падали с шелковых ресниц на прекрасную лилейно-белую грудь. Короля, казалось, поразила ангельская красота этой девушки. Он нежно поднял ее, взял ее руку и сделал такое движение, словно хотел поцеловать ее. Но он ее выпустил и продолжал смотреть на прелестное дитя взглядом, влажным от слез, — знак того, что он глубоко тронут. Ментенон еле слышно прошептала Скюдери:

— Посмотрите, разве эта малютка не вылитая Ла-Вальер? Король предается сладостным воспоминаниям. Ваше дело выиграно!

Как ни тихо сказала Ментенон эти слова, все же король, по-видимому, услышал их. Легкая краска на мгновение залила его лицо, взгляд скользнул по маркизе, он прочитал прошение, поданное ему Мадлон, и сказал тоном ласковым и мягким:

— Я верю, милое дитя мое, что ты убеждена в невинности твоего Оливье, но посмотри, что еще скажет *chambre ardente*!

Легкое движение рукой — и вот уже девушка, заливаясь слезами, должна была покинуть комнату. Скюдери, к своему ужасу, увидела, что воспоминание о Ла-Вальер, как ни благотворно казалось оно вначале, изменило намерения короля, едва только Ментенон произнесла ее имя. Быть может, король увидел в этом грубый намек на то, что он собирается принести строгую справедливость в жертву красоте, или, быть может, с ним случилось то же, что бывает с каким-нибудь мечтателем: если резко окликнуть его, сразу же улечиваются прекрасные волшебные образы, только что казавшиеся такими осязаемыми. Возможно также, что ему представилась не Ла-Вальер, какой она была некогда, а *Soeur Louise de la Misericorde*⁵ (ее монашеское имя в Кармелитском монастыре), вызывавшая в нем своей набожностью и

⁵ Сестра Луиза Милосердая

своим покаянием одну только досаду. Спокойно ожидать королевского решения — вот единственное, что оставалось теперь делать.

Между тем показание, которое граф Миоссан дал перед *chambre ardente*, стало известно, и народ, всегда легко переходящий от одной крайности к другой, и на сей раз увидел невинную жертву варваров-судей в том самом человеке, которого сперва проклинали, называли гнусным убийцей и хотели растерзать, не дав ему подняться на эшафот. Только теперь соседи вспомнили о добродетелях Оливье, о его страстной любви к Мадлон, о том, как он душою и телом был предан старику ювелиру. Целые толпы собирались перед домом Ла-Рени и с угрозой кричали ему: «Отдай нам Оливье Брюссона, он невиновен!» — и даже камни бросали в окна, так что председатель был вынужден искать у полиции защиты от разъяренной черни.

Прошло несколько дней, а Скюдери все еще ничего не слышала о процессе Оливье Брюссона. В полном отчаянии она отправилась к Ментенон, но та уверяла ее, что король молчит об этом деле и что было бы вовсе неуместно о нем напоминать. А когда Ментенон с какой-то странной улыбкой спросила, что поделявает маленькая Ла-Вальер, то Скюдери уже не сомневалась, что в душе эта гордая женщина раздосадована обстоятельством, по вине которого легко увлекающийся король мог бы поддаться чарам, чуждым и непонятным ей. Итак, на Ментенон надеяться было нельзя.

Наконец с помощью д'Андильты Скюдери удалось узнать, что у короля был продолжительный секретный разговор с графом Миоссаном. Далее, что Бонтан, камердинер и ближайший поверенный короля, был в Консьержери, беседовал с Брюссонем, что, наконец, как-то ночью тот же Бонтан и еще несколько человек отправились в дом Кардильяка и долго пробыли там. Клод Патрю, живший в нижнем этаже, уверял, что над его головой шумели всю ночь и что, наверно, при этом был Оливье Брюссон: он-де явственно слышал его голос. Итак, было несомненно одно: сам король велел произвести расследование, и только оставалось непонятным, почему так долго откладывается решение. Очевидно, Ла-Рени пускал в ход все средства, лишь бы удержать в своих когтях жертву, которую у него собирались вырвать. Это в зародыше убивало всякую надежду.

Прошел почти целый месяц, и вдруг Ментенон присылает к Скюдери сказать, что сегодня вечером король желает ее видеть в покоях маркизы.

Сердце Скюдери сильно забилося: она поняла, что теперь решается судьба Брюссона. Она сказала об этом и бедной Мадлон, которая горячо молила пресвятую деву и всех святых, чтобы они внушили королю уверенность в невинности Брюссона.

И все же Скюдери показалось, будто король забыл обо всем этом деле: как обычно занятый любезными разговорами с Ментенон и Скюдери, он ни словом не обмолвился о бедном Брюссоне. Наконец появился Бонтан, подошел к королю и сказал ему несколько слов — так тихо, что обе дамы ничего не расслышали. Скюдери вздрогнула. Тут король встал, подошел к Скюдери и, бросив на нее сияющий взгляд, молвил:

— Поздравляю вас, сударыня! Ваш Оливье Брюссон — на свободе!

Скюдери, у которой слезы хлынули из глаз, не в силах вымолвить слово, хотела броситься к ногам короля. Но он удержал ее, сказав:

— Полно, полно, сударыня; вам бы надо стать адвокатом в парламенте и защищать мои дела; клянусь святым Дионисием, никто на свете не устоит против вашего красноречия. Впрочем, — тоном более серьезным прибавил он, — впрочем, тому, кого под защиту берет сама добродетель, не страшны никакие обвинения, не страшны ни *chambre ardente*, ни все суды мира!

Наконец Скюдери нашла слова, в которые вылилась ее пламенная благодарность. Король перебил ее, сказав, что дома ее ожидает благодарность гораздо более пламенная, чем та, которой он мог бы требовать от нее, ибо, вероятно, в эту минуту счастливый Оливье обнимает свою Мадлон.

— Бонтан, — молвил в заключение король, — выдаст вам тысячу луидоров, и вы от моего имени вручите их Мадлон как приданое. Пусть выходит замуж за своего Брюссона,

который вовсе и не заслуживает такого счастья, но пусть оба уедут из Парижа. Это — моя воля.

Мартиньер поспешила навстречу Скюдери, за нею следом — Батист, у обоих лица сияли от радости, они в восторге кричали: «Он здесь!.. он свободен! О милые молодые!» Счастливая пара бросилась к ногам Скюдери.

— О, я же ведь знала, что вы, вы одна спасете моего мужа! — восклицала Мадлон.

— Ах, вера в вас, мою мать, всегда жила в моей душе! — восклицал Оливье, и оба они целовали почтенной даме руки и проливали горячие слезы. А потом они снова обнимали друг друга и уверяли, что неземное блаженство этого мига искупает все несказанные страдания минувших дней, и клялись — никогда, до самой смерти, не разлучаться.

Через несколько дней союз их благословил священник. Если бы даже на то не было воли короля, Оливье все равно не остался бы в Париже, где все напоминало ему страшные времена Кардильяковых злодейств и где какая-нибудь случайность могла открыть страшную тайну, известную теперь уже нескольким лицам, и навсегда разрушить мирное течение его жизни. Тотчас же после свадьбы он с молодой женой, напутствуемый благословениями Скюдери, уехал в Женеву. Там Оливье, обладавшего всеми добродетелями честного гражданина, ждала, благодаря богатому приданому Мадлон и его редкому мастерству в ювелирном деле, счастливая, безмятежная жизнь. Для него исполнились все надежды, которые до самой могилы изменяли его отцу.

Год спустя после отъезда Брюссона особым объявлением, подписанным Арлуа де Шовалоном, архиепископом парижским, и адвокатом парламента Пьером Арно д'Андильи, было доведено до всеобщего сведения, что раскаявшийся грешник под тайной исповеди передал церкви добытое грабежом собрание золотых украшений и драгоценных камней. Всякий, у кого до конца 1680 года была похищена какая-нибудь драгоценность, в особенности же если нападение произошло ночью и на улице, мог явиться к д'Андильи и получить назад свою драгоценность при условии, что описание похищенной вещи в точности будет соответствовать одному из найденных уборов и что вообще законность притязания не возбудит никаких сомнений. Многие, означенные в списке Кардильяка не убитыми, а только оглушенными ударом кулака, являлись к парламентскому адвокату и получали назад похищенную драгоценность, чему немало изумлялись. Все прочее досталось церкви св. Евстахия.